

Аз

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ЭЖЕН СЮ



Парижские тайны

Том 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«АЗБУКА»

Парижские тайны

Эжен Сю

Парижские тайны. Том 2

«Азбука-Аттикус»

1843

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Сю Э. Ж.

Парижские тайны. Том 2 / Э. Ж. Сю — «Азбука-Аттикус»,
1843 — (Парижские тайны)

ISBN 978-5-389-24594-5

«Парижские тайны» Эжена Сю – возможно, самый популярный роман XIX века, породивший множество подражаний и создавший особое направление в приключенческой литературе. К этому жанру «криминальной беллетристики» можно отнести такие произведения, как «Отверженные» Гюго, «Горбун» Феваля, «Петербургские трущобы» Крестовского и многие другие прославленные романы (Умберто Эко опубликовал список из сорока романов, представляющих собой прямое подражание «Парижским тайнам»). В книге весьма реалистично изображен красочный, жестокий, авантюрный мир парижского дна. Невероятные приключения, неожиданные сюжетные повороты, любовные интриги и колоритные персонажи продолжают волновать читателей и сегодня, а число экранизаций и театральных постановок «Парижских тайн» невозможно сосчитать. Во второй том вошли последние пять частей романа и эпилог. Текст сопровождается многочисленными иллюстрациями итальянского художника Освальдо Тофани (1849–1915), никогда ранее не публиковавшимся в России.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-24594-5

© Сю Э. Ж., 1843

© Азбука-Аттикус, 1843

Содержание

Часть шестая[1]	8
Глава I	8
Глава II	23
Глава III	35
Глава IV	48
Глава V	57
Глава VI	72
Глава VII	82
Глава VIII	92
Глава IX	104
Глава X	121
Глава XI	130
Глава XII	143
Конец ознакомительного фрагмента.	145



Эжен Сю Парижские тайны. Том 2

Eugène Sue
LES MYSTÈRES DE PARIS

Иллюстрации Освальдо Тофани

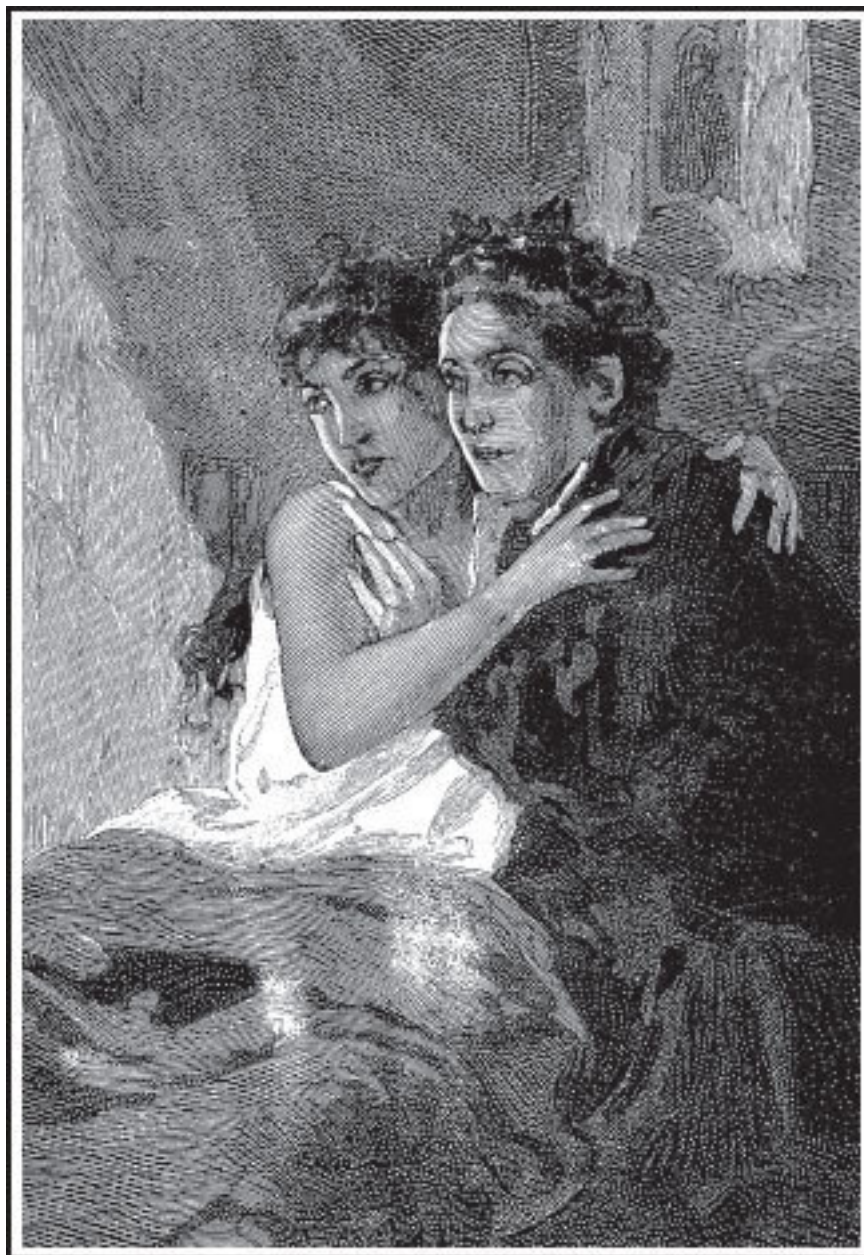
© Я. З. Лесюк (наследник), перевод, 2023

© М. С. Трескунов (наследник), перевод, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Часть шестая¹



Глава I Речной пират

После короткого молчания вдова казненного сказала дочери:

– Пойди и принеси дров; ночью мы приведем в порядок дровяной сарай... когда вернутся Николя и Марсиаль.

– Марсиаль? Стало быть, вы и ему хотите рассказать, что...

– Принеси дров, – повторила вдова, резко обрывая дочь.

Тыква, привыкшая подчиняться этой железной воле, зажгла фонарь и вышла.

¹ Перевод Я. Лесюка.

Когда она растворила дверь, стало видно, что снаружи царит непроглядная тьма, в кухню ворвался треск и хруст высоких тополей, терзаемых ветром, слышалось звяканье цепей, которыми были привязаны лодки, донеслись свист северного ветра и рев реки.

Все эти грозные звуки навевали тоску.

Во время предыдущей сцены Амандина, глубоко взволнованная судьбой Франсуа, которого она нежно любила, не решалась ни поднять глаза, ни осушить слезы, которые тонкими струйками стекали ей на колени. Сдерживаемые рыдания душили ее, она старалась унять их, как старалась унять и громкие удары сердца, трепетавшего от страха.

Слезы застилали ей взгляд. Она торопливо спарывала метку с рубашки, которую ей кинула мать, и поранила ножницами руку; из ранки капала кровь, но бедная девочка меньше думала о боли, чем о наказании, которое угрожало ей за то, что она испачкала кровью рубашку, над которой трудилась. К счастью, вдова, погруженная в глубокое раздумье, ничего не заметила.

Тыква возвратилась, неся корзину, полную дров. Поймав взгляд матери, она утвердительно кивнула головой.

Это должно было означать, что нога мертвеца в самом деле высовывалась из-под земли.

Вдова еще сильнее поджала губы и продолжала работать, но теперь она, казалось, еще быстрее орудовала иглой.

Тыква раздула огонь, заглянула в кипящий чугунок, стоящий в углу плиты, и опять уселась возле матери.

– А Николя все не идет! – воскликнула она. – Как бы эта старуха, что приходила утром и назначила ему встречу с каким-то господином, по поручению Брадаманти, не втянула его в какую-нибудь скверную историю. Она так странно глядела исподлобья и ни за что не хотела ни назвать себя, ни сказать, откуда она пришла.

Вдова молча пожала плечами.

– Вы думаете, Николя ничего не угрожает, матушка? А вообще-то вы, пожалуй, правы... Старуха просила его быть к семи вечера на набережной Бийи, прямо против пристани, и ждать там человека, который хочет с ним поговорить: вместо условного знака он назовет имя Брадаманти. И то сказать, ничего опасного в такой встрече нет. А Николя, может, потому задерживается, что, должно быть, прихватил чего по дороге, как позавчера, когда он слямзил² это вот белье, унес его из лодки зазевавшейся прачки.

Тыква при этом показала рубашки, с которых Амандина спарывала метки; потом, обратившись к девочке, она спросила:

– А ты знаешь, что такое слямзить?

– Это значит... взять... – ответила девочка, не поднимая глаз.

– Это значит украсть, дуреха! Понятно? Украсть...

– Да, сестрица...

– А когда умеют так ловко красть, как это делает Николя, то всегда какой-никакой барыш достается... Белье, которое он вчера стибрил, нам впрок пойдет, а обойдется даром, только метки спороть придется, не так ли... матушка? – прибавила Тыква с громким смехом, обнажая при этом свои лошадиные зубы, такие же желтые, как ее физиономия.

Вдова осталась холодна к этой шутке.

– Кстати, насчет того, чтобы обогатить наше хозяйство, причем задарма, – продолжала Тыква, – мы, должно быть, сможем это сделать в другой лавочке. Вы, верно, знаете, какой-то старик поселился несколько дней назад в загородном доме господина Гриффона, ну, того лекаря из парижской больницы: его дом стоит на отлете, в сотне шагов от берега, прямо против печи для обжига гипса.

² Украл. – Здесь и далее, кроме указанных особо, примечания автора.

Вдова едва заметно качнула головой.

– Николя вчера толковал, что теперь можно будет обделать одно выгодное дельце, – опять заговорила Тыква. – А я нынче утром убедилась, что и там наверняка есть чем поживиться: надо только послать Амандину побродить вокруг дома, на девчонку никто внимания не обратит, подумают, что она там играет, а она тем временем все подробно разглядит и потом нам перескажет, что видела. Слышишь, что я говорю? – строго прибавила Тыква, посмотрев на Амандину.

– Да, сестрица, я туда схожу, – ответила девочка, задрожав всем телом.

– Ты вечно говоришь: «Я все сделаю», а потом ничего не делаешь, притворщица! В тот раз, когда я велела тебе взять пятифранковую монету в конторке бакалейщика, пока я разговаривала с ним в другом конце лавки, сделать это было куда как просто: детей-то ведь никто не опасается. Почему ты меня ослушалась?

– Сестрица, у меня... просто духу не хватило... я никак решиться не могла.

– А в тот день, когда ты стащила косынку из короба разносчика, пока он торговал в кабачке, у тебя духу хватило? И он, дуреха, ничего не заметил.

– Сестрица, ведь это вы меня заставили... косынку-то я взяла для вас, а потом, косынка ведь не деньги.

– А тебе-то какая разница?

– Ну как же?! Взять косынку не так дурно, как деньги взять.

– Смотри какая честная! Это Марсиаль учит тебя быть такой порядочной? – спросила Тыква со злобной усмешкой. – Ты, должно, все ему пересказываешь, доносица! Уж не думаешь ли ты, что мы боимся, как бы он нас не выдал, твой Марсиаль?.. – Затем, обратившись к матери, Тыква прибавила: – Поверь, матушка, все это плохо для него кончится... Он тут свои порядки установить хочет. Николя на него злится, просто в ярость приходит, да и я тоже. Марсиаль настраивает Амандину и Франсуа против нас, да и против тебя... Разве можно такое терпеть?..

– Нельзя... – буркнула вдова резко и жестко.

– Он таким сделался особенно с той поры, как его Волчица угодила в тюрьму Сен-Лазар, совсем бешеный стал, на всех злобится. А мы-то при чем, что его... полюбовница в тюрьме оказалась? Да, когда ее выпустят, она бесперечь сюда заявится... ну а я уж ее привечу... как подобает встречу... хоть она из себя такую храбрую строит...

Немного подумав, вдова сказала дочери:

– Так тебе кажется, можно будет облапошить того старика, что в доме лекаря живет?

– Да, матушка...

– Но он же с виду просто нищий!

– Знаешь, он благородного происхождения.

– Благородного происхождения?

– Да, и к тому же у него в кошельке золотых монет полно, хоть он всюду пешком ходит и домой всегда возвращается тоже пешком – с дубинкой вместо кареты.

– А почему ты знаешь, что у него золото есть?

– Я как-то была на почте в Аньере, узнавать ходила, нет ли весточки из Тулона...

При этих словах, напомнивших вдове о том, что один из ее сыновей на каторге, та нахмурилась и подавила вздох.

Тыква между тем продолжала:

– Я ждала своей очереди, и тут вошел старик, что живет у лекаря, я его сразу признала по белой бороде и волосам, брови же у него черные, а лицо – цвета самшита. На вид он крепкий орешек. И, несмотря на возраст, должно быть, решительный старик... Он спросил у почтовой служащей: «У вас нет письма из Анже на имя графа де Сен-Реми?» – «Есть тут одно письмо», – ответила она. «Да, это мне, вот мой паспорт». Пока она изучала его бумаги, старик, чтоб запла-

тять за доставку, вытащил из кармана кошель зеленого шелка. Я враз углядела, что там сквозь петли золотые блестят: они кучкой лежали, величиной с яйцо, у него было не меньше сорока или пятидесяти луидоров! – воскликнула Тыква, и глаза ее загорелись от алчности. – А при том одет он как последний бедняк. Видно, один из тех старых скупердяев, что деньгами набиты... Вот что я вам еще скажу, матушка: теперь мы его имя знаем, и это может пригодиться... чтобы проникнуть к нему, когда Амандина разузнает, есть ли в доме прислуга.

Громкий лай прервал речь Тыквы.

– А, собаки залаяли, – сказала она, – верно, лодку слышали. Это Николя или Марсиаль...

При имени Марсиаля на личике Амандины появилось сдержанное выражение радости.

Прошло несколько минут томительного ожидания, и все это время девочка не сводила нетерпеливого и тревожного взгляда с двери; затем она с огорчением увидела, что на пороге показался Николя, будущий сообщник Крючка.

Физиономия у Николя была одновременно отталкивающей и свирепой; небольшого роста, тщедушный и щуплый, он мало походил на человека, способного заниматься опасным и преступным ремеслом. На беду, какая-то дикая нравственная энергия заменяла этому негодяю недостававшую ему физическую силу.

Поверх синей рабочей блузы Николя носил что-то вроде куртки без рукавов из козлиной шкуры с длинной коричневой шерстью, войдя в кухню, он швырнул на пол слиток меди, который с явным трудом нес на плече.

– Доброй ночи и с доброй поживой, мать! – закричал он глухим и хриплым голосом, освободившись от своей ноши. – Там у меня в ялике еще три такие чушки да тюк разного тряпья и сундук, набитый черт знает чем, я ведь не полюбопытствовал его отпереть. Может, меня и надули... сейчас поглядим!

– Ну а как тот человек с набережной Бийи? – спросила Тыква.

Мать все это время молча смотрела на сына.

Николя ничего не ответил, он только сунул руку в карман своих штанов, пошарил там и стал позвякивать многими, видимо, серебряными монетами.

– Ты все это у него отобрал?! – воскликнула Тыква.

– Нет, он сам выложил мне двести франков и посулил еще восемь сотен, когда я... Ну ладно, хватит!.. Сперва выгрузим все из моей лодки, а уж потом станем языком молоть. Марсиаль дома?

– Нет, – ответила сестра.

– Тем лучше! Припрячем добычу, пока его нет... Так он ничего знать не будет...

– Ты его боишься, трус? – съязвила Тыква.

– Боюсь его?.. Кто – я? – И Николя пренебрежительно пожал плечами. – Я боюсь только, как бы он нас не продал, вот и все. А так мне чего его бояться? Жулик³ с хорошо отточенным языком всегда при мне!

– О, когда его тут нет... ты вечно бахвалишься... но как только он появляется на пороге, сразу прикусываешь язык.

Николя, казалось, пропустил мимо ушей эти слова и сказал:

– Быстрее! Пошли быстрее к лодке!.. А где Франсуа, мать? Пусть он нам тоже поможет.

– Матушка задала ему трепку, а потом заперла наверху; он нынче ляжет спать без ужина, – ответила Тыква.

– Ладно! Только пускай он все-таки сойдет вниз и подсобит нам разгрузить ялик, не так ли, мать? Я, он и Тыква – мы все за один раз притащим.

³ Нож.

Вдова молча указала пальцем на потолок. Тыква поняла ее жест и отправилась за Франсуа.

Морщины на сумрачном лице вдовы слегка разгладились после прихода Николя; она любила его больше, чем Тыкву, но, как сама говорила, все же меньше, чем того сына, что был теперь на каторге в Тулоне: материнская любовь этой свирепой женщины зависела от степени преступности ее детей!

Столь извращенное чувство во многом объясняет, почему вдова была так мало привязана к своим младшим отпрыскам: они не проявляли дурных наклонностей; этим же объяснялась ее неприязнь, даже ненависть к Марсиалю, старшему сыну; хотя его образ жизни назвать безупречным было нельзя, но по сравнению с Николя, Тыквой и его братом-каторжником он был человек честный.

– Где же ты промышлял нынче вечером? – спросила вдова у Николя.

– Возвращаясь с набережной Бийи, где я увиделся с тем господином, который назначил мне встречу, я углядел возле моста Инвалидов галиот, что пришвартовался к набережной. Было уже совсем темно, и я сказал себе: «В каютах света нет... матросы, должно быть, на берегу». Подплываю ближе... Встреть я на палубе кого-нибудь, я бы попросил у него обрывок веревки – треснувшее весло обвязать... Вхожу в каюту... никого... Тогда я хватаю все, что можно, – тюк с тряпьем и большой сундук, а с палубы прихватываю четыре медных слитка; мне пришлось дважды взбираться на галиот, груженный железом и медью... Ну вот и Франсуа с Тыквой. Пошли скорей к лодке!.. Слушай, Амандина, иди-ка и ты с нами, понесешь разное тряпье. Ведь прежде чем делить добычу... надо ее притащить...

Оставшись одна, вдова занялась приготовлениями к ужину для всей семьи: она расставила на столе бутылки, стаканы, фаянсовые тарелки и приборы из серебра.

Как раз в ту минуту, когда она со всем управилась, вернулись ее дети, нагруженные поклажей.

Маленький Франсуа нес на плечах два медных слитка и сгибался в три погибели под их тяжестью; Амандина была наполовину скрыта ворохом ворованного белья и платья, который она пристроила у себя на голове; шествие замыкал Николя: с помощью Тыквы он тащил сундук из неструганого дерева, а поверх него приладил четвертый слиток меди.

– Сундук, сундук!.. Сперва распотрошим сундук! – вопила Тыква, горя от дикого нетерпения.

Слитки меди полетели наземь.

Николя вооружился топориком, висевшим у него на поясе, он просунул крепкое железное острие под крышку сундука, поставленного посреди кухни, чтобы легче было к нему подступиться.

Красноватое подрагивающее пламя очага освещало эту сцену дележа; со двора все сильнее доносилось завывание ветра.

Так и не сняв своей куртки из козьей шерсти, Николя присел на корточки возле сундука и тщетно пытался приподнять крышку, изрыгая при этом поток ужасных ругательств, ибо крепкая крышка не поддавалась его отчаянным усилиям.

Глаза Тыквы горели от алчности, щеки пылали в предвкушении зрелища награбленных вещей; она опустилась на колени возле окаяннго сундука и всей тяжестью навалилась на топорик, чтобы увеличить силу рычага, которым орудовал ее брат.

Вдову отделял от них широкий стол; будучи высокого роста, она перегнулась через него и также склонилась над украденным сундуком; взгляд ее горел от лихорадочного вожделения.

И наконец – какое жестокое и вместе с тем, к несчастью, обычное человеческое свойство! – двое детей, чьи врожденные добрые инстинкты часто одерживали верх над проклятым влиянием отвратительного и порочного семейного окружения, двое детей, забыв о своей совестливости и о своих страхах, также уступили роковому любопытству и соблазну...

Прижавшись друг к другу, с горящими глазами, едва дыша, Франсуа и Амандина с таким же нетерпением жаждали узнать, что же таится в этом сундуке, их также раздражала медлительность, с какой возился с крышкой Николя.

Наконец злополучная крышка треснула и раскололась на части.

– Ах!.. – вырвался радостный вопль из уст взволнованной и обрадованной семьи.

И все, начиная с матери и кончая маленькой Амандиной, отталкивая друг друга, со свирепой жадностью накинлись на взломанный сундук. Без сомнения, он был послан из столицы какому-нибудь торговцу новинками в прибрежный городок, ибо в нем было множество штук различных материй для женщин.

– Нет, Николя не надули! – завопила Тыква, разворачивая штуку шерстяного муслина.

– Нет, – подхватил разбойник, в свою очередь распаковывая тюк с косынками и шейными платками, – я оправдал свои расходы...



Красноватое подрагивающее пламя очага освещало эту сцену дележа...

– Да тут материи из Леванта... их станут раскупать, как хлеб... – пробормотала вдова, в свой черед копаясь в сундуке.

– Скупщица краденого из дома Краснорукого, что живет на улице Тамплъ, возьмет все материи, – прибавил Николя, – а папаша Мику, содержатель меблированных комнат в квартале Сент-Оноре, займется краснухой⁴.

– Амандина, – чуть слышно сказал Франсуа своей младшей сестренке, – какой славный шейный платочек выйдет из тех красивых шелковых платков... которые Николя держит в руке!

– И хорошенькая косыночка тоже получится, – с простодушным восторгом откликнулась девочка.

– Надо признаться, тебе повезло, Николя, что ты забрался на этот галиот, – проговорила Тыква. – Гляди-ка, красота какая!.. Теперь вот пошли шали... они сложены по три штуки вместе... и все чистый шелк... Посмотри же, матушка!

– Тетка Бюрет заплатит не меньше пятисот франков за все сразу, – сказала вдова, внимательно оглядев ткани.

– Ну, стало быть, настоящая цена этому товару не меньше тысячи пятисот франков, – заметил Николя. – Но, как говорится, кто краденое скупает, сам... вором бывает. Ну, тем хуже, я торговаться не привык... как всегда, так и на этот раз сваляю дурака и уступлю товар за ту цену, что назначит тетка Бюрет, да и папаша Мику тоже; ну он хотя бы друг.

– Это роли не играет, он такой же жулик, как и все, этот старый торговец скобяным товаром; но мерзавцы-перекупщики знают, что нам без них никуда, – вмешалась Тыква, драпируясь в шаль, – и они этим-то и пользуются.

– Ну, там больше ничего нет, – сказал Николя, пошарив по дну сундука.

– Теперь надо все обратно уложить, – заметила вдова.

– Эту шаль я оставляю себе, – заявила Тыква.

– Оставишь себе... оставишь себе!.. – неожиданно закричал Николя. – Ты оставишь ее себе, если я ее тебе отдам... Вечно ты все себе требуешь... госпожа Бесстыжая...

– Смотри-ка!.. А ты, стало быть, ничего не берешь... воздерживаешься!

– Я-то?.. Ну, коли я что стырю, то при этом своей шкурой рискую; ведь не тебя, а меня замели бы, если бы сцапали на том галиоте...

– Ладно! Держи свою шаль, плевать я на нее хотела! – разъярилась Тыква, швыряя шаль в сундук.

– Дело не в шали... я не о том говорю; да и не скупердайка я вовсе, чтобы какую-то там шаль жалеть: одной больше, одной меньше, тетка Бюрет даст за товар ту же цену, она ведь все гамузом покупает, – продолжал Николя. – Но вместо того, чтобы сказать «я оставляю себе эту шаль», ты могла попросить меня, чтоб я тебе ее отдал... Да уж ладно, бери ее себе... Бери, говорю... а не то я швырну ее в огонь, чтоб чугунок быстрее закипел.

Слова брата умерили гнев Тыквы, и она взяла шаль уже без злости.

Николя, как видно, охватил приступ великодушия, ибо, оторвав зубами кусок шелковой ткани, он порвал его пополам и бросил по лоскуту Амандине и Франсуа, которые с жадной завистью смотрели на фуляр.

– А вот это для вас, малыцы! Этот лоскут придаст вам вкус к воровству. Ведь, как говорится, аппетит приходит во время еды. А теперь ступайте-ка спать... мне надо с матерью потолковать; ужин вам потом наверх принесут.

Дети радостно захлопали в ладоши и с торжествующим видом помахали в воздухе ворованным фуляром, который им дали.

– Ну что, дурачки? – спросила Тыква. – Станете вы теперь слушаться Марсиаля? Разве он вам хоть когда дарил такие красивые вещицы, как эти?

Франсуа и Амандина переглянулись и молча понурили головы.

⁴ Медью.

– Да отвечайте же, – резко повторила Тыква. – Марсиаль когда-нибудь делает вам подарки?

– Конечно... нет!.. Он нам никогда ничего не дарил, – сказал Франсуа, с удовольствием разглядывая свой шейный платок из красного шелка.

Но Амандина чуть слышно прибавила:

– Наш братец Марсиаль не делает нам подарков... потому что ему не на что их купить...

– Коли бы он воровал, у него было бы на что, – резко сказал Николя. – Не правда ли, Франсуа?

– Да, братец, – ответил Франсуа. Потом он прибавил: – Ох, до чего же красивый фуляр!.. А какой получится из него воскресный галстук!

– А для меня выйдет такая славная косыночка! – подхватила Амандина.

– Я уж не говорю о том, что дети того рабочего, что обжигает в печи гипс, придут в ярость, когда вы пройдете мимо в своих обновках, – вмешалась Тыква. И она внимательно вгляделась в лица детей, чтобы понять: уловили они злобный смысл ее слов?

Эта ужасная девица старалась пробудить в детях тщеславие, чтобы с его помощью задушить последние остатки совестливости в злосчастных малышах.

– Дети обжигальщика гипса, – заметила она, – будут выглядеть рядом с вами просто нищими, они лопнут от зависти, потому что вы в этом красивом шейном платке и косынке будете походить на детей зажиточных господ!

– Смотри-ка! И то правда, – подтвердил Франсуа. – Теперь, когда я знаю, что дети обжигальщика гипса придут в ярость при виде моего нового галстука, какого у них нет, он мне доставит еще больше удовольствия... Ты согласна, Амандина?

– Я просто довольна, что у меня будет красивая косыночка, вот и все.

– В таком разе ты так навсегда и останешься дурехой! – с презрением заявила Тыква. Затем, взяв со стола краюху хлеба и кусок сыра, она подала их детям и сказала: – А теперь отправляйтесь спать... Вот вам фонарь, только поосторожнее там с огнем, не забудьте погасить фонарь перед тем, как заснете.

– Да, вот еще что! – прибавил Николя. – Запомните хорошенько: коли вы, на свою беду, проговоритесь Марсиалю о сундуке, о медных слитках и о материях, я задам вам такую задачу, что вы света белого не взвидите! А к тому же отберу у вас и фуляр.

После того как дети ушли, Николя с помощью сестры упрятал тюк с материей, сундук со штуками полотна и медные слитки в небольшом погребе: туда можно было попасть, спустясь из кухни по нескольким ступенькам, начинавшимся неподалеку от очага.

– Ну, мать! Принеси-ка чего-нибудь выпить, только пусть винцо будет покрепче да получше!.. – крикнул негодяй. – Тащи-ка запечатанные бутылки да доброй водки!.. Я все это вполне заработал... Подавай на стол ужин, Тыква; а Марсиаль погрызет оставшиеся от нас кости, с него и этого довольно... А теперь потолкуем о господине с набережной Бийи, потому как завтра или послезавтра надо будет быстро провернуть одно дельце, ежели только я хочу заполучить денежки, которые он мне пообещал... Я тебе все это сейчас расскажу, мать... Но дай же выпить, черт побери!!! Неси сюда выпивку, нынче я пирую!

И Николя стал вновь бренчать пятифранковыми монетами, лежавшими у него в кармане; потом, отбросив далеко в сторону свою меховую куртку и шапку из черной шерсти, он уселся за стол перед огромным блюдом с бараньим рагу; рядом стояли тарелка с куском холодной телятины и миска с салатом.

Когда Тыква принесла вино и водку, вдова, по-прежнему невозмутимая и мрачная, также присела к столу: справа от нее оказался Николя, слева – Тыква; против нее оставались незанятыми места для Марсиаля и обоих детей.

Разбойник вытащил из кармана длинный и широкий каталонский нож с прочной рукояткой из рога и острым лезвием. Оглядев это смертоносное оружие со свирепым и довольным видом, он сказал матери:

– Мой жулик всегда режет на славу!.. Передайте мне хлеб, мамаша!..

– Кстати о ноже, – сказала Тыква. – Франсуа увидел эту штуку в дровянике.

– Ты это про что? – спросил Николя, не поняв, о чем речь.

– Он обнаружил там ногу...

– Человечью? – вскинулся Николя.

– Да, – подтвердила мать, кладя кусок мяса в тарелку сына.

– Вот так штука!.. А ведь яма-то была глубокая, – отозвался злодей, – но прошло много времени, и земля, должно, осела...

– Надо будет нынче же ночью бросить останки в реку, – вмешалась вдова.

– Да, так будет надежнее, – откликнулся Николя.

– Привяжем покойнику булыжник на шею, а для этого возьмем обрывок заржавевшей цепи от лодки, – сказала Тыква.

– Не так глупо придумано!.. – проговорил Николя, наливая себе вина; затем, подняв бутылку, он обратился к вдове: – Чокнитесь с нами, мамаша, это вас малость развеселит.

Вдова отрицательно покачала головой, отодвинула свой стакан и спросила у сына:

– Ну а что с этим господином с набережной Бийи?

– Вот оно как было дело... – ответил Николя, продолжая есть и пить. – Причалив к пристани, я привязал свой ялик и поднялся на набережную; часы на военной пекарне в Шайо пробили семь, темно было, хоть глаз выколи. Я прогуливался вдоль парапета с четверть часа и тут услышал, что кто-то тихонько идет сзади; я замедлил шаг; какой-то человек, с ног до головы закутанный в плащ, покашливая, подходит ко мне; я останавливаюсь, останавливается и он... Все, что я могу сказать о его физиономии, – это то, что носом он уткнулся в плащ, а шляпу надвинул на глаза.



...Я останавливаюсь, останавливается и он...

(Мы напоминаем читателю, что этот таинственный незнакомец был нотариус Жак Ферран; решив отделаться от Лилии-Марии, он в то же утро спешно отправил г-жу Серафен к Марсиалам, которых надеялся сделать орудием своего нового преступления.)

– «Брадаманти», сказал мне этот господин, – продолжал свой рассказ Николя, – ведь таков был пароль, о котором мы уговорились со старухой, чтобы мне узнать нужного человека.

– Черпальщик, – отвечаю я, опять же, как было условлено.

– Вас зовут Николя? – спрашивает он.

– Именно так, сударь.

– А лодка у вас есть?

– У нас их целых четыре, господин хороший, ведь такое у нас ремесло: мы из поколения в поколение лодочники и черпальщики. Чем могу вам служить?

– Вот что надо бы сделать... если вы не струсите...

– А чего нам трусить, сударь?

– Вам придется понаблюдать за тем, как кто-то будет тонуть из-за несчастного случая... но только придется этому несчастному случаю помочь... Вы меня поняли?

– Ах, вот оно что, сударь, стало быть, надо, чтобы кто-то нахлебался воды из Сены, словно бы по неосторожности? Ну что ж, мне это подходит... Но так как блюдо-то лакомое, к нему дорогая приправа потребуется.

– Сколько надо будет... за двоих?..

– За двоих?.. Стало быть, двоим придется отведать бульона из реки?

– Да...

– Пятьсот франков с головы, сударь... так что совсем не дорого!

– Согласен на тысячу франков...

– Только денежки вперед, господин хороший.

– Две сотни вперед, а остальные – потом...

– Вы мне что, не доверяете, сударь?

– Не доверяю! Ведь вы можете прикарманить мои двести франков, не выполнив своего обещания.

– Ну а вы, сударь, когда дело будет сделано и я попрошу у вас остальные восемьсот монет, можете мне сказать в ответ: «Спасибо, сейчас сбегая за ними!»

– В таких делах без риска не обойтись; ну так как: подходит вам это или нет? Двести франков наличными, а послезавтра на этом же месте, в девять вечера, я вам заплачу остальные восемьсот франков.

– А как вы узнаете, заставил ли я этих двоих нахлебаться речной водицы?

– Не беспокойтесь, узнаю... это уж моя забота... Значит, по рукам?

– По рукам, сударь.

– Вот вам двести франков... А теперь слушайте внимательно: вы узнаете старую женщину, что приходила к вам домой сегодня утром?

– Узнаю, сударь.

– Завтра или послезавтра, самое позднее, она снова к вам пожалует, часа в четыре пополудни; она станет вас ждать на берегу напротив вашего острова, с ней вместе будет белокурая девушка; старуха подаст вам знак, помахав платком.

– Так, сударь.

– Сколько нужно времени, чтобы доплыть от берега до вашего острова?

– Добрых двадцать минут.

– У вас какие лодки, плоскодонки?

– Дно у них ровное, как ладонь, сударь.

– Вы заранее незаметно приладите на дне одной из лодок люк с крышкой, так, чтобы его можно было быстро открыть, вода хлынет в отверстие, и лодка мигом пойдет ко дну... Вам все понятно?

– А то как же, сударь! Ну и хитры же вы! У меня как раз есть старая, полусгнившая лодка, я хотел пустить ее на дрова... вот она и подойдет для этой последней поездки.

– Итак, вы отплываете с вашего острова в этой лодке с задраенным люком; следом за вами плывет другая лодка, надежная, на веслах там сидит кто-либо из вашей семьи. Вы пристаёте к берегу, сажаете к себе в лодку старуху и белокурую девушку и направляетесь обратно к острову; однако на нужном расстоянии от берега вы наклоняетесь и делаете вид, будто вам надо что-то там привести в порядок, открываете люк, а сами быстро прыгаете в другую лодку, что плывет рядом с вами; между тем как старуха и юная блондинка...

– Хлебают водицу из одной и той же чашки... так оно и получится, сударь!

– И вы уверены, что вам никто не помешает? А ну как появятся на реке завсегдааи вашего кабачка?

– Не тревожьтесь, сударь. В этот предвечерний час, а особенно зимой, к нам никто не заходит... Это у нас, как говорится, мертвый сезон; ну а коли вдруг кто и появится, это делу не помешает, напротив... ведь все они – надежные друзья.

– Превосходно! Впрочем, вы ничем не рискуете: решат, что лодка потонула, потому что изветшала, а старуха, которая приведет к вам девушку, исчезнет вместе с нею. Наконец, для того, чтобы убедиться в том, что обе утонули... вследствие несчастного случая, вы можете, если они появятся на поверхности реки или если они уцепятся за борт второй лодки, вы можете, говорю я, изо всех сил попытаться им помочь и...

– И помочь им... пойти ко дну. Заметано, сударь!

– Надо также, чтобы эта прогулка по реке произошла после захода солнца, чтобы, когда они окажутся в воде, вокруг уже было совсем темно.

– Нет, сударь, так дело не пойдет; если будет мало света, как мы узнаем, что обе женщины уже вдоволь нахлебались водицы или им надо ее еще добавить?

– Это верно... Что ж, тогда несчастный случай произойдет перед самым закатом.

– В добрый час, сударь. Скажите, а старуха не может чего-нибудь заподозрить?

– Нет. Сев в лодку, она шепнет вам на ухо: «Надобно утопить малышку; перед тем как лодка пойдет ко дну, вы мне подайте знак, чтобы я могла спастись вместе с вами». Вы ответите старухе таким тоном, чтобы усыпить все ее подозрения.

– Так, чтобы она была уверена, что везет блондиночку похлевать водицы...

– И сама нахлебается вместе с нею.

– Лихо вы все это придумали, сударь.

– Главное, смотрите, чтобы старуха ничего не заподозрила!

– Не бойтесь, господин хороший, она все проглотит, как ложку меда.

– Ну ладно, желаю удачи, любезный! Я вами доволен, быть может, вы мне еще понадобится.

– К вашим услугам, сударь!

– После этого, – продолжал злодей, окончив свой рассказ, – я распрощался с человеком в плаще, снова сел в свою лодку и по пути, проплывая мимо галиота, заграбастал ту славную добычу, что мы только-только разобрали.

Из рассказа Николя становится понятно, что нотариус хотел, прибегнув к двойному преступлению, разом избавиться и от Лилии-Марии, и от г-жи Серафен, заставив старуху угодить в ту же самую западню, которая, как она думала, была расставлена для одной только Певуньи.

Надо ли повторять, что, с полным основанием опасаясь, как бы Сычиха с минуты на минуту не рассказала Лилии-Марии, что та в раннем детстве была брошена г-жой Серафен, Жак Ферран был крайне заинтересован в том, чтобы заставить молодую девушку исчезнуть навсегда, ибо ее жалоба могла причинить ущерб его богатству и сильно повредить его репутации.

Что же касается г-жи Серафен, то, принося ее в жертву, нотариус избавлялся таким образом от одного из своих сообщников (другим его сообщником был Брадаманти), которые могли бы погубить его, правда погибнув при этом и сами; но Жак Ферран полагал, что могила сохранит его тайны надежнее, чем чувство самосохранения этих людей.

Вдова казненного и Тыква внимательно слушали рассказ Николя, который прерывал его только обильными возлияниями. Вот почему он говорил со все большим возбуждением.

– Это еще не все, – похвастался он, – я тут затеял еще одно дельце вместе с Сычихой и Крючком с Бобовой улицы. Это знатная затея, и мы все лихо обдумали; если наш план не сорвется, прожива будет на славу, скажу не хвастаясь. Мы решили выпотрошить одну торговку

драгоценностями, у нее порою в плетеной сумке, которую она носит с собой, бывает брильянтов тысяч на пятьдесят.

– На пятьдесят тысяч франков! – воскликнули мать и дочь, и глаза у них загорелись от алчности.

– Да... уж никак не меньше. Краснорукий с нами в доле. Вчера он уже пригласил к себе эту торговку, написал ей письмо, а мы с Крючком отнесли его писульку на бульвар Сен-Дени. Ну и ловкач же этот Краснорукий! Так как у него деньжата водятся, его никто не остерегается. Чтобы заманить торговку, он уже продал по ее просьбе брильянтов на четыреста франков. Так что она не побоится прийти под вечер в его кабачок на Елисейских полях. Мы там хорошенько спрячемся. Тыква тоже с нами пойдет, будет стеречь мою лодку на Сене, у берега. Коли понадобится отвезти торговку – живую или мертвую, – вот и удобный экипаж готов, да такой, что следов после себя не оставляет. Да уж, придумка так придумка! У этого прощелыги Краснорукого, как говорится, ума палата!

– А я никогда не доверяла твоему Краснорукому, – заявила вдова. – Особливо после этой истории на Монмартре, когда твой брат Амбруаз угодил в Тулон, а Краснорукий вышел сухим из воды.

– Потому как против него улик не нашлось – он ведь до того хитер!.. Но чтобы он продал других... Нет, никогда!

Вдова только покачала головой с таким видом, будто она лишь наполовину была убеждена в «порядочности» Краснорукого.

Немного подумав, она сказала:

– Мне больше по душе это дело с набережной Бийи, что намечено на завтрашний или послезавтрашний вечер... ну, когда надо утопить двух женщин... Вот только Марсиаль будет нам помехой... как всегда...

– Когда наконец дьявол избавит нас от твоего Марсиаля?.. – заорал Николя, уже сильно захмелевший, и с яростью вонзил свой длинный нож в крышку стола.

– Я уже говорила матушке, что он у нас в печенках сидит, что так дольше продолжаться не может, – подхватила Тыква. – До тех пор пока он будет здесь торчать, из малышей толка не будет...

– А я вам говорю, что с него, негодая, станется в один прекрасный день донести на нас! – крикнул Николя. – Видишь ли, мать... вот если б ты меня послушала... – прибавил он со зверским выражением лица и многозначительно поглядел на вдову, – все бы и устроилось...

– Есть и другие средства.

– Лучше моего средства не найдешь! – настаивал злодей.

– Пока еще... нет, – ответила вдова так решительно, что Николя прикусил язык: он всецело находился под влиянием матери, зная, что она так же зла и преступна, как он сам, но гораздо более решительна и властна.

Между тем вдова прибавила:

– Завтра утром он навсегда уедет с острова.

– Это почему? – в один голос спросили Тыква и Николя.

– Он скоро придет; затейте с ним ссору... только действуйте смелее, открыто... до сих пор вы ни разу еще не отважились на это... но ведь вас будет двое, да и я вам помогу... Только нож в ход не пускать... я не хочу крови... его надо избить, но не ранить.

– Ну а потом, ну а затем, мать? – спросил Николя.

– Потом... мы с ним потолкуем... Мы потребуем, чтобы он убрался с острова завтра же... а не то такие потасовки будут происходить каждый вечер... Я его хорошо знаю, постоянные драки ему не по душе. До сих пор мы его почти не трогали, оставляли в покое.

– Да, но ведь он упрям, как мул; он, может, все-таки захочет остаться тут из-за детей... – сказала Тыква.

– Да, он законченный негодяй... и дракой его не испугаешь, – прибавил Николя.

– Одной дракой не запугаешь... – согласилась вдова. – Но если потасовки будут каждый день, изо дня в день... такого ада он не выдержит... и уступит...

– А коли не уступит?

– Тогда есть у меня еще одно надежное средство заставить его убраться этой же ночью, самое позднее завтра утром, – сказала вдова со странной усмешкой.

– Правда, мать?

– Да, только я предпочла бы испугать его постоянными драками; ну а коли ничего не выйдет... тогда прибегну к тому средству.

– А ежели и то средство не поможет? – спросил Николя.

– Всегда есть крайнее средство, а уж оно-то всегда помогает, – ответила вдова.

Внезапно дверь распахнулась, и вошел Марсиаль.

Ветер снаружи завывал с такой силой, что сидевшие в кухне не слышали лая собак, возвещающего о приходе старшего сына вдовы казненного.

Глава II

Мать и сын

Не подозревая о дурных намерениях своих родичей, Марсиаль медленно вошел в кухню. Несколько слов, сказанных Волчицей в ее разговоре с Лилией-Марией, уже дали читателю некоторое представление о странном образе жизни этого человека.

Будучи от природы добрым малым, неспособным совершить по-настоящему низкий или предосудительный поступок, Марсиаль тем не менее вел не слишком-то правильную жизнь. Он ловил рыбу, нарушая все правила и установления, а его сила и отвага внушали такой страх инспекторам по рыболовству, что они закрывали глаза на то, что он браконьерствовал на реке.

Помимо этого, можно сказать, не вполне законного промысла, Марсиаль прибегал к занятию уж и вовсе недозволенному.

Храбрый, вызывавший страх у окружающих, он охотно участвовал – причем не столько из жадности, сколько от сознания своей силы и мужества – в кулачных боях и драках на дубинках, защищая тех, чьи противники были сильнее; надо добавить, что Марсиаль весьма придирчиво и справедливо отбирал своих «подопечных», которых защищал с помощью мощных кулаков: как правило, он принимал сторону слабого человека, обиженного более сильным.

Лицом любовник Волчицы походил на Франсуа и Амандину; он был среднего роста, коренастый и широкоплечий; его густые рыжие волосы, подстриженные ежиком, спускались на довольно широкий лоб пятью клинышками; густая, жесткая и короткая борода, широкоскулые щеки, крупный, резко очерченный нос, синие глаза, отважный взгляд – все это придавало его мужественному лицу выражение необыкновенной решительности.

На голове у него была клеенчатая шляпа; несмотря на холодную пору года, он носил поверх куртки и штанов из грубого, сильно поношенного бумажного велюра только вылинявшую голубую блузу. В руке у него была большая суковатая дубинка, которую он положил рядом с собою на буфет.

Крупная кривоногая такса черного окраса с красноватыми подпалинами вошла в кухню вслед за Марсиалем; но она остановилась на пороге, не решаясь подойти ни к огню, ни к сотрапезникам, уже сидевшим за столом: опыт подсказывал старому Миро (так звали пса – давнего спутника Марсиаля в его браконьерских занятиях) что он, как и его хозяин, симпатиями в этой семье не пользовался.

– А где же дети?

С этими словами Марсиаль присел к столу.

– Дети находятся там, где находятся, – язвительно ответила Тыква.

– Мать, а где дети? – снова спросил Марсиаль, пропустив мимо ушей ответ сестры.

– Они спать пошли, – сухо ответила вдова.

– А они что же, не ужинали, мать?

– Слушай, ты, а какое тебе до этого дело? – грубо крикнул Николя, хватив перед этим большой стакан вина для храбрости, ибо характер и сила брата были ему хорошо известны.

Марсиаль обратил внимание на грубый выпад Николя не больше, чем на вызывающий ответ Тыквы, и снова обратился к матери:

– Мне не по душе, что детей уже отправили спать.

– Тем хуже... – сказала в ответ вдова.

– Вот именно, тем хуже!.. Потому что я люблю, чтобы за ужином они сидели возле меня.

– А нам они надоели, потому мы их и выпроводили! – заорал Николя. – А коли тебе не нравится, ступай и разыщи их!

Удивленный Марсиаль пристально поглядел на брата. Потом, как видно решив, что ссориться ни к чему, он молча пожал плечами, отрезал толстый ломоть хлеба и кусок мяса.

Такса между тем подошла к Николя, держась, правда, на почтительном расстоянии; злодей, разозленный презрительным равнодушием брата и надеясь вывести его из терпения, обидев собаку, с такой силой ударил Миро ногою, что пес жалобно завизжал.

Марсиаль побагровел, судорожно сжал в руке нож и грохнул кулаком по столу; но, все еще сдерживаясь, он кликнул собаку и ласково сказал ей:

– Пойди сюда, Миро.

Такса улеглась у ног своего хозяина.

Такая сдержанность разрушала планы Николя; он хотел вывести брата из терпения, чтобы завязать ссору.

И потому он прибавил:

– А я, я вообще не люблю собак... не желаю я, чтобы твой пес оставался на кухне!..

Ничего не ответив, Марсиаль налил себе стакан вина и стал медленно пить.

Обменявшись быстрым взглядом с Николя, вдова молча подбодрила его и сделала ему знак продолжать враждебные выпады против Марсиаля, рассчитывая, как мы уже говорили, что бурная ссора приведет к полному разрыву с ним и заставит его уйти из дома.

Николя встал с места, взял возле очага ивовый прут, которым вдова избила Франсуа, и, подойдя к таксе, больно стегнул ее, проговорив:

– Пошел вон отсюда, Миро!

До этого дня Николя не раз, но всегда осторожно и исподтишка задевал Марсиаля, но никогда еще он не осмеливался вести себя так нагло и с такой настойчивой враждебностью.

Возлюбленный Волчицы, догадываясь, что с какой-то непонятной целью его хотят вывести из себя, удвоил свою сдержанность.

Услышав визг собаки, которую ударил Николя, Марсиаль встал, отворил дверь из кухни, выпустил таксу наружу и снова вернулся к столу.

Это необъяснимое терпение, так мало отвечавшее обычно вспыльчивому нраву Марсиаля, озадачило его недоброжелателей... Они были изумлены и переглядывались с непонимающим видом.

Марсиаль, казалось, оставался совершенно чужд происходящему, он с высокомерным видом продолжал есть и хранил глубокое молчание.

– Тыква, убери вино, – приказала вдова дочери.

Та поспешно кинулась выполнять это приказание, но Марсиаль сказал:

– Погоди... я еще не кончил ужинать.

– Тем хуже! – прошипела вдова и сама убрала бутылку со стола.

– Ах, так!.. Тогда другое дело!.. – сказал возлюбленный Волчицы.

Он налил себе большой стакан воды, выпил, прищелкнул языком и объявил:

– До чего ж хороша водичка!

Столь непоколебимое хладнокровие распалило ненависть Николя, уже сильно возбужденного обильными возлияниями; тем не менее он еще побаивался начать открытую атаку, хорошо зная недюжинную силу своего брата; внезапно он закричал, в восторге от собственной выдумки:

– Ты хорошо поступил, подчинившись нашему обращению с твоей таксой, Марсиаль; тебе надо бы взять такое поведение за обычай; потому как ты подготовься к тому, что мы пинками выгоним твою полюбовницу, как только что выгнали твою собаку.

– Да, да... ежели, на свою беду, Волчица, выйдя из тюрьмы, вздумает заявиться сюда, – подхватила Тыква, догадавшаяся о намерениях Николя, – я сама надаю ей знатных оплеух!

– Ну а я заставлю ее нырнуть в тину возле лачуги, что стоит на остроконечном берегу острова, – подхватил Николя. – А коли она вынырнет на поверхность, я опять загоню ее в ил пинками моих башмаков... твою стерву...

Эта брань, адресованная Волчице, которую Марсиаль любил с дикой страстью, взяла верх над его мирными намерениями; он нахмурил брови, вся кровь бросилась ему в лицо, жилы на его лбу набухли и напоминали теперь веревки; и все же у него хватило самообладания, и он только сказал брату слегка задрожавшим от сдержанного гнева голосом:

– Слушай, поберегись... ты ищешь ссоры, а получишь такую выволочку, какой не ждешь.

– Я получу выволочку... от тебя?

– Да, от меня... и я угощу тебя почище, чем в прошлый раз.

– Как, Николя! – с деланным удивлением язвительно спросила Тыква. – Разве Марсиаль тебя поколотил?... Подумать только! Матушка, вы слышите?... Теперь меня больше не удивляет, что Николя так его боится.

– Он меня поколотил... потому что напал сзади! – крикнул Николя, побелев от ярости.

– Лжешь; это ты на меня напал исподтишка, и я тебе задал трепку, а потом мне тебя стало жаль; но если ты еще раз посмеешь говорить такие гадости о моей возлюбленной... слышишь, о моей возлюбленной... тогда уж пощады не жди... у тебя долго не пройдут синяки и следы от побоев.

– А если я захочу поговорить в таком духе о Волчице? – спросила Тыква.

– Я дам тебе пару затрещин для начала, ну а коли ты опять примешься ее оскорблять... я тебя так отдую...

– Ну а если о ней заговорю я? – медленно спросила вдова.

– Вы, матушка?

– Да... я.

– Вы? – переспросил Марсиаль, изо всех сил стараясь сдержаться. – Вы?

– Ты и меня поколотишь, не так ли?

– Нет, но если вы будете дурно говорить о Волчице, я вздую Николя; ну а так, как знаете... это ваше дело... да и его тоже.

– Это ты-то, ты меня поколотишь!!! – в ярости завопил злодей, размахивая своим грозным каталонским ножом.

– Николя... оставь нож! – крикнула вдова, быстро поднимаясь с места, чтобы схватить сына за руку, но тот, опьянев от вина и гнева, вскочил, грубо оттолкнул мать и кинулся на старшего брата.

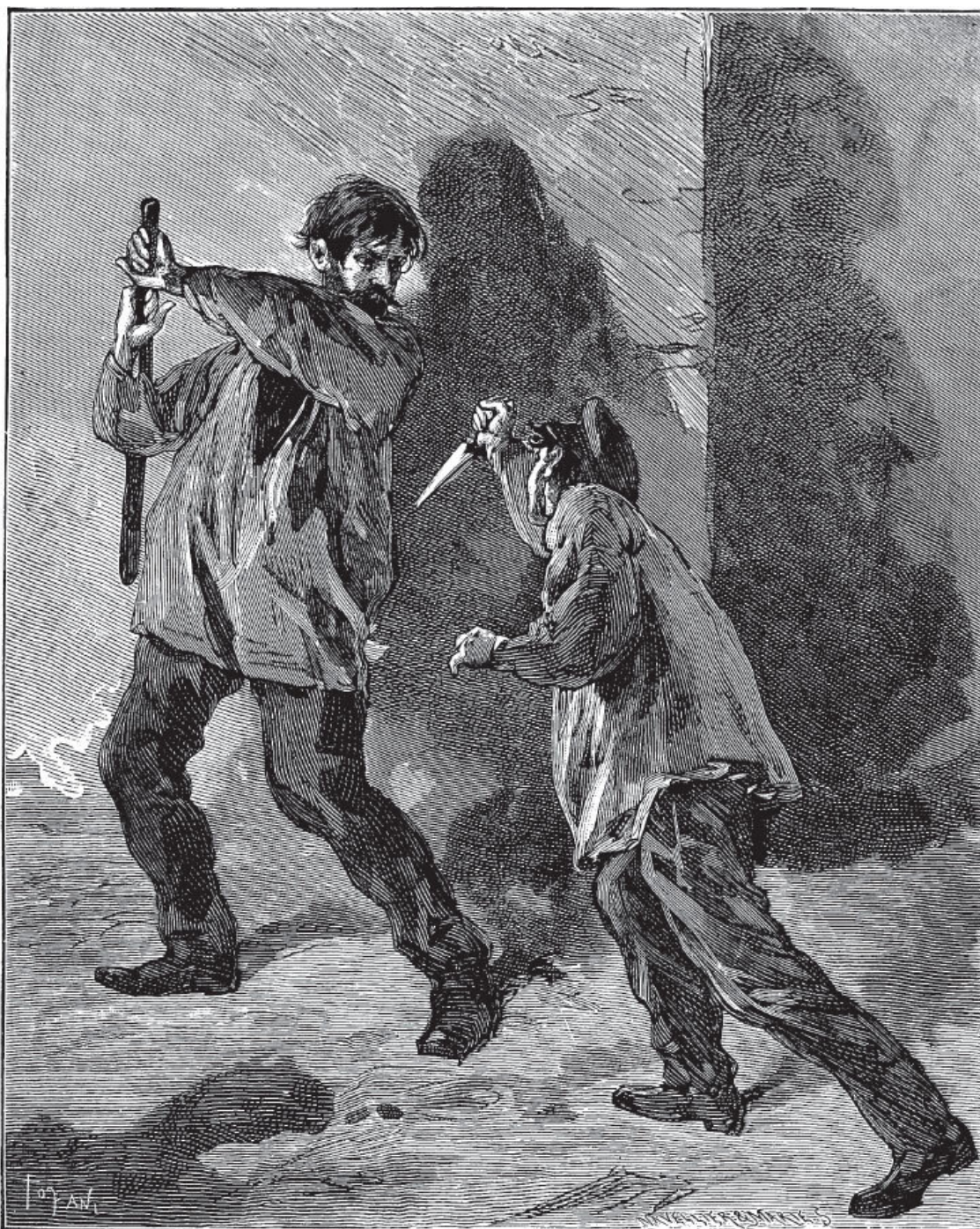
Марсиаль стремительно отступил назад, схватил свою толстую суковатую дубинку, которую он, войдя в кухню, положил на буфет, и занял оборонительную позицию.

– Николя, брось нож! – повторила вдова.

– Да не мешайте вы ему! – закричала Тыква, схватив топорик черпальщика.

Николя, все еще размахивая своим ужасным ножом, выжидал удобной минуты, чтобы наброситься на брата.

– Я тебя предупреждаю, – вопил он, – что тебя и твою дрянь Волчицу я истреблю, а сейчас начну с тебя... Ко мне, матушка... ко мне, Тыква! Остудим-ка его, слишком долго мы терпели!



Николя, все еще размахивая своим ужасным ножом, выжидал удобной минуты, чтобы наброситься на брата.

Сочтя, что удобный момент для нападения наступил, этот разбойник кинулся на брата, выставив вперед нож.

Марсиаль, опытный боец на дубинках, быстро отскочил в сторону, поднял дубинку, и она с быстротой молнии, описав в воздухе восьмерку, с размаху опустилась на правое предплечье Николя; сила этого неожиданного и болезненного удара была такова, что тот выронил нож.

– Негодяй... ты сломал мне руку! – завопил Николя, схватившись левой рукой за правую, повисшую вдоль тела как плеть.

– Не бойся, не сломал, я почувствовал, как дубинка отскочила, – спокойно ответил Марсиаль, отшвырнув ударом ноги нож, отлетевший под стойку.

Затем, воспользовавшись болью, которую испытывал Николя, Марсиаль схватил брата за шиворот, резко отпихнул его назад и потащил к двери в небольшой погреб, о котором мы уже упоминали; отворив эту дверь одной рукой, он другою втокнул Николя, ошеломленного этим внезапным нападением, в темный погреб и захлопнул дверь.

Затем, вернувшись к обеим женщинам, Марсиаль схватил Тыкву за плечи и, несмотря на ее ожесточенное сопротивление и на то, что она топориком слегка поранила его руку, не обращая внимания на ее дикие вопли, запер сестру в низкой зале кабачка, примыкавшей к кухне.

После чего, обратившись к матери, которая не пришла еще в себя при виде этого столь же ловкого, сколь и неожиданного маневра своего старшего сына, Марсиаль холодно сказал ей:

– Ну а теперь, мать, потолкуем вдвоем.

– Ладно! Согласна... потолкуем вдвоем!.. – громко сказала вдова, и ее обычно бесстрастное лицо оживилось, мертвенно-бледная кожа слегка порозовела, обычно тусклые глаза загорелись мрачным огнем: гнев и ненависть придали ее физиономии ужасный вид. – Ладно, потолкуем вдвоем!.. – продолжала она с угрозой в голосе. – Я ждала этой минуты, ты наконец-то узнаешь обо всем, что у меня на душе.

– И я, я тоже выскажу вам все, что у меня на душе.

– Проживи еще хоть сто лет, но этой ночи ты не забудешь, так и знай...

– Да, я ее не забуду!.. Брат и сестра собирались меня укокошить, а вы ничего не сделали, чтобы помешать им... Но мы еще поглядим... ладно, говорите... что вы имеете против меня?

– Что я имею против тебя?..

– Вот именно...

– После гибели твоего отца... ты вел себя трусливо и подло!

– Я?

– Да, ты трус!.. Вместо того чтобы жить с нами и поддерживать нас, ты отправился в Рамбулье и браконьерствовал в тамошних лесах с этим продавцом дичи, с которым ты спознался в Берси.

– Останься я тут, с вами, я был бы сейчас на каторге, как Амбруаз, или мог бы вот-вот туда угодить, как Николя; я не хотел стать таким вором, как все вы... потому-то вы меня и ненавидите.

– А каким ремеслом ты занимаешься? Воруешь дичь, воруешь рыбу, только воруешь, не подвергая себя опасности, воруешь трусливо!..

– Рыба, как и дичь, никому не принадлежит; нынче они – у одного, завтра – у другого, надо только суметь их поймать... Нет, я не ворую... А что до того, трус ли я...

– Ну да, ты за деньги избиваешь людей, тех, кто послабее тебя!

– Потому что они сами избивали тех, кто слабее их.

– Трусливое ремесло... ремесло для труса!..

– Есть более достойные занятия, это правда; да только не вам меня судить!

– Отчего же ты тогда не взялся за эти более достойные занятия, вместо того чтобы заявляться сюда, бездельничать и жить на мой счет?

– Я приношу вам рыбу, которую мне удастся поймать, и все те деньги, что мне удастся заработать!.. Это немного, но этого хватает на жизнь... я вам ничего не стою... Я попробовал было сделаться слесарем, чтобы зарабатывать побольше... но когда человек с самого детства привык бродяжничать, проводить время на реке или в лесу, прижиться в другом месте трудно; с этим ничего не поделаешь... такой уж мой удел... А потом, – прибавил сумрачно Марсиаль, – мне всегда было по душе жить одному на реке или в лесу... Там никто не приставал ко мне с расспросами. А всюду в других местах только и говорят о моем отце, и мне приходится отвечать, что он погиб на гильотине! Судачат о моем брате-каторжнике! О моей сестре-воровке!

– Ну а что ты говоришь о своей матери?

– Я говорю...

– Что же именно?

– Я говорю, что она умерла.

– И хорошо делаешь; я и в самом деле как умерла... Я отрекаюсь от тебя, трус! Твой брат на каторге! Твой дед и твой отец храбро кончили жизнь на эшафоте, смеясь в лицо священнику и палачу! Вместо того чтобы отомстить за них, ты дрожишь от страха!..

– Отомстить за них?

– Да, вести себя, как подобает истинному Марсиалю, плевать на нож дяди Шарло и на его красный плащ и кончить свою жизнь как твой отец и твоя мать, как твой брат и сестра...

Хотя Марсиаль и привык к свирепой экзальтации своей матери, он не мог подавить дрожь.

Когда вдова казненного произносила последние слова, лицо ее было ужасно.

Она опять заговорила со все возрастающей яростью:

– Да, ты трус! И не просто трус, но вдобавок и болван! Захотел быть честным!!! Честным? Но разве тебя не будут вечно презирать и гнать как сына убийцы, как брата каторжника! А ты, вместо того чтобы копить в душе месть и ненависть, ты предаешься страху! Вместо того чтобы кусать недругов, ты спасаешь свою шкуру! Когда они послали твоего отца на гильотину... ты нас бросил... трус! А ты ведь хорошо знал, что мы не можем уехать с этого острова и переселиться в город, потому что нам вслед улюлюкали, в нас швыряли камнями, как в бешеных псов! О, они нам за это заплатят, понятно?! Они нам за все заплатят!!!

– Я не испугаюсь не только одного противника, но даже десятка противников, но позволять, чтобы все свистели и улюлюкали тебе вслед, потому что ты сын убийцы и брат каторжника... ну нет, на это я не согласен! Это не по мне... я предпочел уйти в леса и браконьерствовать там вместе с продавцом дичи Пьером.

– Вот и оставался бы там... в своих лесах.

– Я вернулся потому, что у меня тут одно дело с полевым сторожем, а главное – из-за детей... потому как они теперь в таком возрасте, что дурной пример может и их заставить пойти по дурной дорожке.

– А тебе-то что до этого?

– А то, что я не хочу, чтобы они стали такими же проходимцами, как Амбруз, Николя и Тыква...

– Просто ушам своим не верю!

– А если они останутся одни со всеми вами, им не избежать общей участи. Я стал было учиться ремеслу, чтобы заработать деньги и забрать с собою детей, увезти их с этого острова... но в Париже все знают... и там я оставался сыном погибшего на гильотине... братом каторжника... мне пришлось всякий день вступать в драки... и я в конце концов от этого устал.

– А вот быть честным ты не устал... тебе это до того нравилось!.. Вместо того чтобы собраться с духом и вернуться к нам, чтобы стать таким, какими станут дети... вопреки твоей воле... да, вопреки твоей воле... Ты думаешь увлечь их своей рыбной ловлей... но мы тут, начеку... Франсуа уже наш... почти наш... нужен подходящий случай, и он вступит в шайку...

– А я вам говорю, что нет...

– Сам убедишься, что да... уж я в таких делах разбираюсь... В его душе уже живет порок, вот только ты мешаешь... А что до Амандины, то, как только ей исполнится пятнадцать лет, она пойдет по известной дорожке... Да, в нас швыряли камнями! Да, нас гнали, как бешеных псов!.. Но они еще увидят, что такое наша семья, все мы, кроме тебя, трус, ибо здесь только тебя одного нам приходится стыдиться⁵.

⁵ Эти ужасные доводы, к сожалению, вовсе не преувеличены. Вот что можно прочесть в превосходном докладе г-на де Бретиньера о положении в исправительной колонии в Метрэ (заседание от 12 марта 1842 г.): «Гражданское состояние содержа-

– Очень жаль.

– А так как, оставаясь с нами, ты можешь испортиться... завтра ты отсюда уйдешь и никогда больше не появишься...

Марсиаль с удивлением посмотрел на мать; после короткого молчания он спросил:

– Вы и затеяли за ужином ссору со мной, чтобы этого добиться?

– Да, чтобы показать тебе, что тебя ожидает, если ты, против нашей воли, захочешь тут остаться. Тебя ждет ад... слышишь... сущий ад!.. Каждый день будут ссоры, тумачи, потасовки, и мы не будем одни, как сегодня вечером; нам на помощь придут друзья... ты и недели не выдержишь...

– Вы надеетесь меня запугать?

– Просто я говорю тебе, как это будет...

– Мне все равно... я остаюсь...

– Ты останешься здесь?

– Да.

– Против нашей воли?

– Против вашей воли, против воли Тыквы, против воли Николя, против воли всех прощелыг его пошиба!

– Ну знаешь... мне просто смешно.

В устах этой женщины со зловещим и свирепым лицом слова эти прозвучали устрашающе.

– Я вам повторяю, что останусь тут до тех пор, пока не найду способа зарабатывать на жизнь в другом месте, а тогда заберу отсюда детей; будь я один, мне бы долго думать не пришлось: я вернулся бы в леса; но из-за них мне понадобится время... чтобы подыскать работу, какую я ищу... А покамест я остаюсь.

– Ах так! Ты остаешься... до тех пор, пока сможешь забрать детей?

– Вы в самую точку попали!

– Собрался забрать отсюда детей?

– Как только я им скажу: идемте со мной, они не только пойдут, но побегут за мной, уж в этом-то я ручаюсь.

Вдова пожала плечами, а потом опять заговорила:

– Слушай: я тебе только что сказала, что проживи ты хоть сотню лет, ты этой ночи не забудешь; так вот, я тебе сейчас объясню почему; но прежде повтори: ты твердо решил не уходить отсюда?

– Да, да! Тысячу раз «да»!

– Скоро ты скажешь «нет» и прибавишь: «тысячу раз „нет“»! Слушай же внимательно...

Ты знаешь, чем занимается твой брат?

– Подозреваю, но знать этого не хочу...

– Так знай... он ворует...

– Тем хуже для него.

– И для тебя тоже...

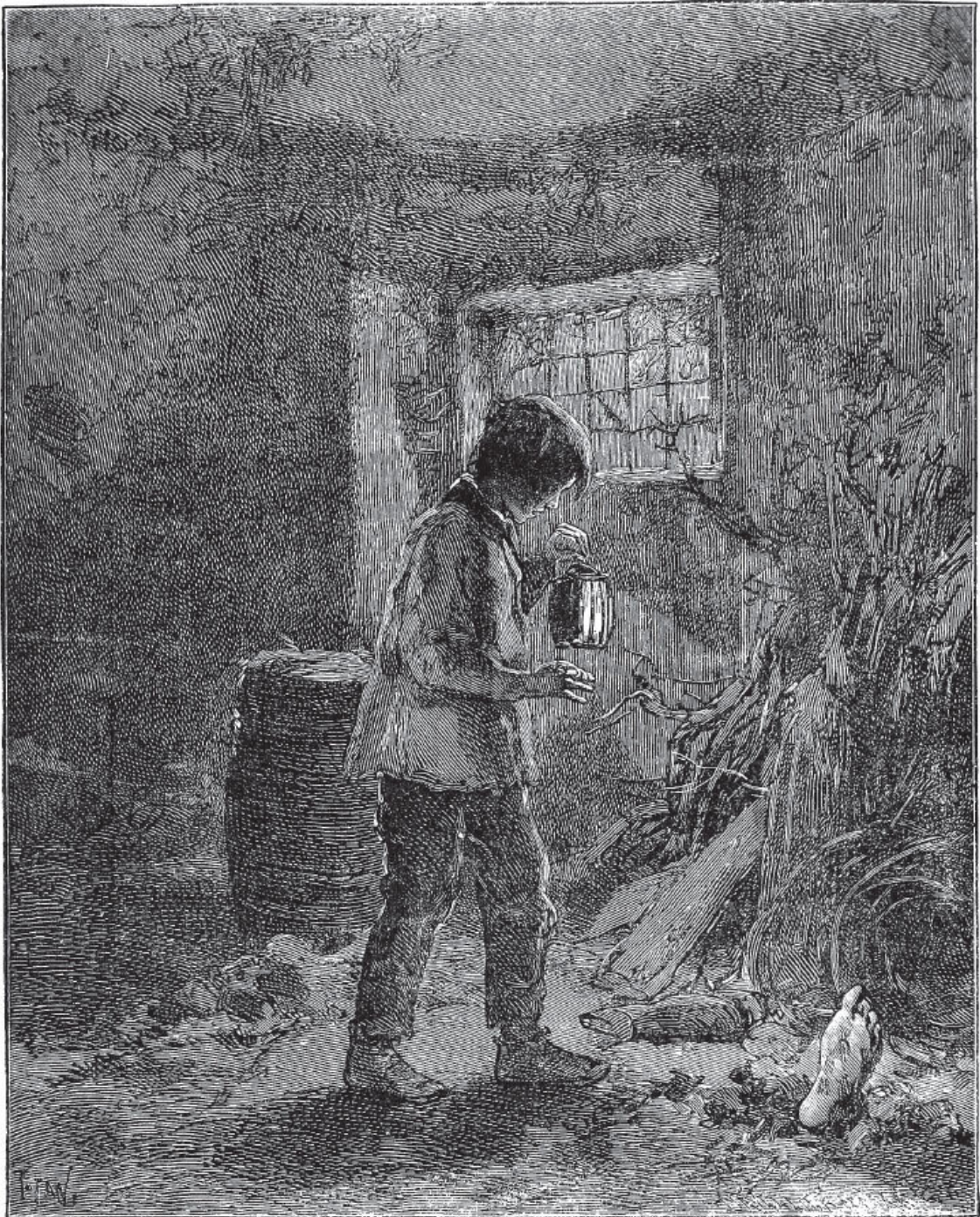
щихся в колонии тоже важно отметить: среди них насчитывается тридцать два незаконнорожденных, тридцать четыре ребенка, которых родители бросили, сочетавшись новым браком, у пятидесяти одного воспитанника родители в тюрьме, у ста двадцати четырех родители не подвергались судебному преследованию, но ведут нищенский образ жизни. Эти цифры весьма красноречивы и поучительны: они позволяют понять не только последствия, но и причины и оставляют надежду остановить рост зла, источники которого, таким образом, установлены. Количество преступных родителей способствует тому порочному воспитанию, которое получили дети, опекаемые подобными „наставниками“. Приученные ко злу своими родителями, дети совершали дурные поступки, повинаясь их приказам и следуя дурным примерам. Подвергаясь судебному преследованию, они покорно разделяют судьбу своих близких; отправляясь с ними в тюрьму, они как бы состязаются в пороке, и поистине необходимо, чтобы в этих грубых и исковерканных натурах чудом сохранялись отблески Божественной благодати, чтобы семена честности не заглохли в их душах».

– А я-то при чем?

– Он ворует по ночам, часто со взломом, а за это полагается каторга; коли его поймают, нас всех отправят туда же как укрывателей и скупщиков краденого, тебя тоже осудят; заметут всю семью, и дети окажутся на улице, там они быстро научатся ремеслу твоего отца и деда, научатся еще скорее, чем дома.

– Меня арестуют как укрывателя краденого и вашего сообщника? А на каком основании?

– Все знают, как ты живешь: браконьерствуешь на реке, бродяжничаешь, у тебя дурная слава, и живешь ты вместе с нами; кого ты убедишь, кто тебе поверит, будто ты не знал, что мы ворует и укрываем краденое?



Он увидел, что из-под земли высовывается человеческая нога.

- А я докажу, что не знал.
- Да мы сами объявим тебя своим сообщником.
- Объявите сообщником? Почему?
- В оплату за то, что ты пожелал остаться тут против нашей воли.
- Только что вы хотели запугать меня одним способом, теперь хотите добиться этого по-другому; но у вас ничего не выйдет, я докажу, что никогда не воровал. И я остаюсь.
- Ах, ты остаешься! Ну, тогда слушай дальше. Помнишь, что у нас тут происходило в прошлом году в рождественскую ночь?
- В рождественскую ночь? – переспросил Марсиаль, роясь в воспоминаниях.
- Подумай... подумай хорошенько...
- Нет, ничего я не припоминаю...
- Разве ты не помнишь, что Краснорукий привел сюда в тот вечер хорошо одетого господина, которому почему-то надо было скрываться?..
- Да, теперь я припоминаю; я ушел к себе наверх спать, а он остался с вами ужинать... Ночь он провел в доме, а на рассвете Николя отвез его в Сент-Уэн...
- А ты уверен, что Николя отвез его в Сент-Уэн?
- Вы мне сами утром так сказали.
- Стало быть, в рождественскую ночь ты был дома?
- Ну был... и что из того?
- В ту ночь... человек этот, у которого было много денег с собой, был убит в нашем доме.
- Убит?.. Здесь?..
- Сперва ограблен... потом убит и зарыт в нашем дровянике.
- Быть того не может! – крикнул Марсиаль, побледнев от ужаса и не желая поверить в это новое преступление его родных. – Вы просто хотите меня запугать. Еще раз повторяю: быть того не может!
- А ты расспроси своего любимчика Франсуа, спроси его, что он обнаружил нынче утром в дровяном сарае?
- Франсуа? А что он такое обнаружил?
- Он увидел, что из-под земли высовывается человеческая нога. Возьми фонарь, сходи туда и сам во всем убедишься.
- Нет, – проговорил Марсиаль, вытирая холодный пот со лба, – нет, не верю я вам... Вы это говорите для того, чтобы...
- Чтобы доказать тебе, что ежели ты против нашей воли останешься тут, то можешь в любую минуту попасть под стражу как соучастник в ограблении и убийстве; ты был в доме в рождественскую ночь; мы скажем, что ты помог нам в этом деле. Как ты докажешь противное?
- Господи! Господи! – пробормотал Марсиаль, закрыв лицо руками.
- Ну а теперь ты уйдешь? – спросила вдова с язвительной усмешкой.
- Марсиаль был ошеломлен: к несчастью, он больше не мог сомневаться в том, что мать сказала ему правду; бродячая жизнь, которую он вел, то, что он жил в столь преступной семье, и в самом деле должно было навлечь на него самые ужасные подозрения, и подозрения эти могли превратиться в твердую уверенность в глазах служителей правосудия, если бы мать, брат и сестра указали на него как на своего сообщника.
- Вдова наслаждалась тем, как был подавлен ее сын.
- У тебя, правда, есть способ избежать неприятностей: донеси на нас сам!
- Стоило бы так сделать... но я этого не сделаю... и вы это хорошо знаете.
- Потому-то я тебе все и рассказала... Ну а теперь ты уберешься отсюда?
- Марсиаль попробовал разжалобить эту мегеру; глухим голосом он сказал:
- Мать, я не верю, что вы способны на убийство...
- Это как тебе угодно, но убирайся отсюда.

– Я уйду, но только с одним условием.

– Никаких условий!

– Вы отдадите детей обучаться какому-нибудь ремеслу, далеко отсюда... в провинции...

– Дети останутся здесь...

– Скажите, мать, когда вы сделаете их похожими на Николя, на Тыкву, на Амбруаза, на моего отца... что это вам даст?

– А то, что они станут нам помогать в нужных делах... нас и так уже слишком мало... Тыква неотлучно находится со мной, помогает обслуживать посетителей кабачка. Николя работает один: хорошенько подучившись, Франсуа и Амандина будут ему добрыми помощниками, в них ведь тоже швыряли камнями, в них, в малышей... так что пусть и они мстят!

– Скажите, мать, вы ведь любите Тыкву и Николя, не так ли?

– И что из того?

– Если дети станут им подражать... если ваши и их преступления раскроют...

– Дальше!

– Они ведь взойдут на эшафот, как и отец...

– Ну, говори дальше, говори!

– И ожидающая их судьба вас не страшит?!

– Их судьба будет такой же, как и моя, не хуже и не лучше... Я ворую, и они воруют; я убиваю, и они убивают; кто возьмет под стражу мать, возьмет под стражу и детей... Мы разлучаться не станем. Коли наши головы слетят с плеч, они упадут в одну и ту же корзину... и тогда мы простимся друг с другом! Нет, мы не отступим; в нашей семье только один трус, это ты, и мы тебя прогоняем... убирайся отсюда!

– Но дети! Дети!

– Дети вырастут! Говорю тебе, что, если бы не ты, они бы уже сейчас были с нами, Франсуа уже почти готов на все, а когда ты уйдешь, Амандина быстро наверстает упущенное время...

– Мать, я умоляю вас, согласитесь отправить детей подальше отсюда, пусть их обучат какому-нибудь ремеслу.

– Сколько раз повторять тебе, что их хорошо обучают здесь?!

Вдова казненного произнесла последние слова с такой непреклонностью, что Марсиаль утратил последнюю надежду смягчить эту душу, выкованную из бронзы.

– Ну, коли так, – сказал он отрывисто и решительно, – теперь хорошенько выслушайте меня в свой черед, мамаша... Я остаюсь.

– Ха-ха-ха!

– Я останусь, но не в этом доме... тут меня уколошит Николя или отравит Тыква; но так как в другом месте мне покамест жить не на что, я вместе с детьми поселюсь в лачуге на краю острова; дверь там крепкая, да я ее еще закреплю... Находясь там, да вдобавок хорошо забаррикадировавшись, имея под рукой мое ружье, дубинку и пса, я никого не боюсь. Завтра утром я заберу отсюда детей; днем они будут возле меня – либо в лодке, либо в лесу; а ночью мы будем спать все вместе в этой лачуге; пропитание мы станем добывать себе рыбной ловлей; и так будет до тех пор, пока я найду способ их пристроить, а я его найду...

– Ах вот что ты надумал!

– Ни вы, ни мой братец, ни Тыква не можете этому помешать, не так ли?.. Если ваши кражи и убийство обнаружат, пока я еще буду на острове... тем хуже, но я готов на риск! Я объясню, что я возвратился сюда и остался тут ради детей, для того чтобы помешать вам превратить их в негодяев... Пусть меня даже судят... Но разрази меня гром, если я уеду с острова или если дети хотя бы еще один день останутся в этом доме!.. Да, я вам бросаю вызов, вам и вашим сообщникам: попробуйте-ка прогнать меня с острова!

Вдова хорошо знала решительный нрав Марсиаля; дети не только побаивались старшего брата, но и любили его; так что они без колебаний пойдут за ним туда, куда он захочет. Что же касается его самого, хорошо вооруженного, готового на все, постоянно остающегося на чеку, – ведь он весь день будет в своей лодке, а ночь будет проводить, укрывшись и хорошо забаррикадировавшись в своей лачуге на берегу, – то ему нечего будет опасаться злобных намерений своих родичей.

Таким образом, план Марсиаля мог успешно осуществиться... Однако у вдовы было множество причин, чтобы помешать этому.

Во-первых, подобно тому, как честные ремесленники порою смотрят на своих многочисленных детей как на источник благосостояния, потому что те помогают им в работе, вдова рассчитывала на то, что дети будут помогать семье совершать преступления.

Во-вторых, то, что она говорила о своем желании мстить за мужа и за сына, было правдой. Некоторые люди, выросшие, состарившиеся и закореневшие в преступной деятельности, отваживаются на открытый бунт против общества, вступают с ним в жестокую борьбу и считают, что, совершая новые преступления, они таким способом мстят за кару, пусть даже справедливую, которая обрушилась на них самих или на их близких.

И наконец, в-третьих, зловещим намерениям Николя в отношении Лилии-Марии, а затем и в отношении г-жи Матье присутствие Марсиаля могло серьезно помешать. Вдова надеялась добиться немедленного разрыва между семьей и Марсиалем, либо вызвав ссору между ним и Николя, либо объяснив Марсиалу, что если он будет упорствовать в своем решении оставаться на острове, то рискует прослыть сообщником в нескольких уже совершенных его родными преступлениях.

Столь же хитрая, сколь и прозорливая, вдова, убедившись в ошибочности своих расчетов, поняла, что следует прибегнуть к вероломству для того, чтобы заманить сына в кровавую западню... После продолжительного молчания она вновь заговорила с притворной горечью:

– Теперь мне понятен твой план, сам ты на нас доносить не хочешь, но ты собираешься добиться, чтобы это сделали дети.

– Я собираюсь?

– Они ведь знают теперь, что в сарае зарыт какой-то человек, знают они и то, что Николя только что совершил кражу... Если их отдать в обучение ремеслу, они там все разболтают, нас арестуют, мы все угодим в тюрьму... ты, кстати, тоже: вот что получится, коли я тебя послушаюсь и позволю тебе увезти отсюда детей... А ты еще утверждаешь, что не хочешь нам зла!.. Я не прошу тебя любить меня, но не торопи, по крайней мере, час нашей гибели.

Смягчившийся тон вдовы заставил Марсиаля поверить, что его угрозы оказали на нее благотворное влияние, – и он попал в расставленную ему ужасную западню.

– Я знаю детей, – продолжал он, – и я уверен, что, если не разрешу им ничего говорить, они никому ничего не скажут... К тому же, так или иначе, я все время буду с ними и отвечаю за то, что они будут молчать.

– Разве можно отвечать за детей, за их болтовню... особенно в Париже, где все так болтливы и любопытны!.. Я хочу, чтобы они оставались тут не только для того, чтобы помогать нам в делах, но и для того, чтобы они не могли нас продать.

– А разве они не ходят иногда в соседний городок или в Париж? Кто им мешает там разговаривать... если им того захочется? Вот если бы они были далеко отсюда, пожалуйста, в добрый час! Все, о чем бы они ни рассказали, никакой опасностью грозить не будет...

– Далеко отсюда? А где именно? – спросила вдова, в упор глядя на сына.

– Вы только позвольте мне их увезти... а куда, вас не касается...

– А на что ты будешь жить, да и они тоже?

– Мой прежний хозяин, владелец слесарной мастерской, славный человек; я ему скажу все что надо, и, может, он даст мне займы немного денег, ради детей; тогда я смогу отдать

их в обучение куда-нибудь подальше отсюда. Мы уедем через два дня, и вы больше никогда о нас не услышите...

– Нет, все-таки... я хочу, чтобы они остались со мной, так я буду спокойнее за них.

– Ну, тогда я завтра же устраиваюсь в лачуге на берегу в ожидании лучшего... Я ведь тоже упрям, вы мой нрав знаете!..

– Да, хорошо знаю... Ох, как бы я хотела, чтобы ты оказался далеко отсюда! И чего ты только не остался у себя в лесу?

– Я вам предлагаю избавиться сразу и от меня, и от детей...

– Стало быть, ты оставишь тут Волчицу? А ты ее вроде так любишь?... – внезапно сказала вдова.

– А вот это уж мое дело, я знаю, как поступить, у меня есть своя задумка...

– Если я позволю тебе увезти Амандину и Франсуа, обещаешь, что вашей ноги никогда в Париже не будет?

– Не пройдет и трех дней, как мы уедем и считай что умрем для вас.

– По мне, уж лучше так, чем видеть, что ты тут торчишь, и все время опасаться детей... Ладно уж, коли надо на что-то решиться, забирай детей... и убирайся с ними как можно скорее... чтоб мои глаза вас больше вовек не видели!

– Решено?!

– Решено. А теперь отдай мне ключ от погреба, я хочу выпустить оттуда Николя.

– Нет, пусть он сперва как следует протрезвится; я отдам вам ключ завтра утром.

– А как с Тыквой?

– Это другое дело; выпустите ее, когда я поднимусь к себе; мне на нее глядеть противно...

– Ступай... И хоть бы ты поскорее провалился в преисподнюю!

– Это все, что вы мне хотите сказать на прощание?

– Да, все...

– К счастью, это наше последнее прощание.

– Самое последнее... – пробурчала вдова.

Марсиаль зажег свечу, отворил дверь кухни, свистнул свою собаку, которая с радостным визгом прибежала со двора и последовала за своим хозяином на верхний этаж.

– Ступай, наши счета с тобой покончены! – прошептала вдова, погрозив кулаком вслед сыну, который поднимался по лестнице. – Но ты того сам захотел.

Затем с помощью Тыквы, которая разыскала и принесла связку отмычек, вдова отомкнула дверь погреба, где сидел Николя, и выпустила своего сынка на свободу.

Глава III

Франсуа и Амандина

Франсуа и Амандина спали в небольшой комнате, расположенной прямо над кухней, в конце коридора, куда выходило несколько других комнат, служивших общими залами для завсегдатаев кабачка.

Разделив на двоих свой скудный ужин, дети, вместо того чтобы потушить фонарь, как приказала им вдова, бодрствовали, оставив дверь полуоткрытой, чтобы не пропустить минуты, когда их брат Марсиаль пройдет мимо, направляясь в свою комнату.

Пристроенный на хромоногой скамеечке, фонарь отбрасывал слабый свет сквозь свой прозрачный рожок.

Грубо оштукатуренные стены комнатухи, убогое ложе для Франсуа и старая детская кроватка, ставшая уже слишком короткой для Амандины, груда нагроможденных друг на друга стульев и скамей, разбитых и расколотых шумными посетителями таверны острова Черпальщика, составляли жалкое убранство этого чулана.

Амандина, сидя на краю кровати, старательно завязывала на лбу косынку из фуляра, украденного Николя, которую он ей подарил.

Франсуа, опустившись на колени, держал осколок зеркала перед лицом сестренки, а она, повернув голову набок, старательно завязывала огромный бант, который она соорудила, стянув на лбу два кончика косынки, торчавшие, как рожки.

Франсуа с таким вниманием и восторгом любовался головным убором Амандины, что на миг отвел в сторону осколок зеркала, так что девочка не могла разглядеть в нем свое личико и головку.

– Приподними зеркало повыше, – сказала Амандина, – а то я теперь совсем себя не вижу... Так, так... хорошо... поддержи еще немного... вот я и кончила... А сейчас погляди! Как по-твоему, идет мне этот убор?

– О, так идет! Так идет!.. Господи! До чего же хорош этот бант... Ты мне сделаешь такой же для моего галстука, ладно?

– Конечно, сделаю, прямо сейчас... но позволь мне прежде немного пройтись по комнате. А ты пойдешь передо мной... пятысь назад, и будешь держать зеркало повыше... чтобы я видела себя на ходу...

Франсуа старательно выполнил этот нелегкий маневр, к величайшему удовольствию Амандины, она просто наслаждалась, шагая с торжественным и радостным видом, увенчанная огромным бантом и рожками из фуляра.

При других обстоятельствах ее кокетство могло бы показаться просто наивным и простодушным, но теперь оно казалось почти преступным, ибо было связано с кражей, о которой и Франсуа, и Амандине было хорошо известно. Вот вам еще одно доказательство того, с какой ужасающей легкостью дети, покамест ни в чем не повинные, портятся, даже сами не подозревая о том, когда они живут постоянно в преступной атмосфере и преступном окружении.

К тому же единственный наставник этих злосчастных детей – их брат Марсиаль – и сам был отнюдь не безгрешен, как мы уже говорили; он был не способен совершить кражу, а уж тем более убийство, но тем не менее сам вел бродяжническую и беспорядочную жизнь. Без сомнения, преступления членов его семьи возмущали Марсиаля; он нежно любил обоих детей и защищал их от дурного обращения; он старался вырвать их из-под тлетворного влияния семьи; но так как сам он не опирался на строгие требования нравственности, строжайшей нравственности, то его советы недостаточно оберегали его подопечных от следования дурным примерам. Дети отказывались совершать некоторые дурные поступки не столько из честности, сколько из

желания слушаться Марсиаля, которого они искренне любили, а также из нежелания подчиняться требованиям матери, которую они ненавидели и боялись.

Что же касается понимания того, что справедливо, а что несправедливо, то они были бесконечно далеки от такого понимания; каждый день сталкиваясь с отвратительными поступками и проступками, совершавшимися у них на глазах, дети к ним привыкли, ибо, как мы уже говорили, этот сельский кабачок посещали человеческие отбросы, самые дурные представители простонародья, здесь происходили отвратительные оргии и гнусные дебоши; а Марсиаль, ярый враг воров и убийц, довольно безразлично относился к этим непристойным сатурналиям.

Поэтому, хотим мы сказать, представления о нравственности у обоих детей, особенно у Франсуа, были весьма расплывчаты, зыбки и хрупки; этот подросток был в том опасном возрасте, когда растущий человек колеблется между добром и злом и может в любую минуту погибнуть или ступить на стезю спасения...

– До чего тебе идет эта красная косынка, сестрица! – воскликнул Франсуа. – Как она хороша! Когда мы пойдем играть на песчаную площадку перед печью для обжига гипса, тебе надо непременно надеть ее, это здорово разозлит детей обжигальщика, они ведь всегда кидают в нас камнями и называют ублюдками казненного... А я, я тоже надену свой красный шейный платок, он ведь так красив! И мы крикнем им в ответ: «Ну и что ж! Зато у вас нет таких славных вещиц из шелка, как у нас!»

– А скажи, Франсуа, – заговорила Амандина, немного подумав, – если б они знали, что моя косынка и твой галстучек украдены, они ведь тогда стали бы обзывать нас воришками?..

– Ну знаешь, пусть только попробуют назвать нас ворами!

– Понимаешь, когда про тебя говорят неправду... то на это внимания не обращаешь... Но сейчас...



Франсуа, опустившись на колени, держал осколок зеркала перед лицом сестренки...

- Раз Николя сам подарил нам эти два лоскута фуляра, стало быть, мы их не украли.
- Так-то оно так, но он-то их стащил на корабле, а наш братец Марсиаль говорит, что воровать нельзя...
- Но ведь воровал-то Николя, так что мы тут ни при чем.
- Ты так думаешь, Франсуа?
- Конечно...
- И все же, мне кажется, было бы лучше, если б тот, кому они принадлежали, сам их нам дал... А ты как считаешь, Франсуа?
- А по мне, все равно... Нам сделали подарок, и он теперь наш.
- Так ты в этом уверен?

– А то как же! Да, да, будь спокойна!..

– Ну тогда... тем лучше: мы не сделали того, что наш братец Марсиаль не велит, и у меня красивая косынка, а у тебя шейный платок.

– Скажи, Амандина, а если бы Марсиаль узнал про тот головной платок, что Тыква на днях велела тебе взять из короба бродячего торговца, когда он повернулся к тебе спиной?

– О Франсуа, зачем ты об этом вспоминаешь! – воскликнула бедная девочка со слезами на глазах. – Мой братец Марсиаль мог бы перестать нас любить... понимаешь, и оставил бы нас тут совсем одних.

– Да ты не бойся... разве я стану ему об этом хоть когда-нибудь говорить? Я просто для смеха сказал...

– О, не смейся над этим, Франсуа; ты знаешь, как я тогда горевала! Но что мне было делать? Ведь сестра щипала меня до крови, а потом она так страшно... так страшно тарасила на меня глаза. У меня и то два раза духа не хватило, я уж подумала, что так и не решусь никогда... А бродячий торговец ничего и не заметил, и сестре достался головной платок. Ну а если б меня поймали, Франсуа, меня бы ведь в тюрьму посадили...

– Но тебя не поймали, а не пойманный – не вор.

– Ты так думаешь?

– Черт побери, конечно!

– А как, должно быть, плохо в тюрьме!

– А вот и нет... напротив...

– То есть как напротив, Франсуа?

– Слушай! Ты ведь знаешь этого колченогого верзилу, что живет в Париже, у папаши Мику, который скупает краденое у Николя... этот папаша Мику содержит в Париже меблированные комнаты в Пивоваренном проезде.

– Ты говоришь о хромом верзиле?

– Ну да, помнишь, он приезжал сюда поздней осенью, приезжал от имени папаши Мику, а с ним вместе были дрессировщик обезьян и две какие-то женщины.

– Ах да, да; этот хромой верзила потратил так много, так много денег!

– Еще бы, он ведь платил за всех... Помнишь наши прогулки по реке... это я ведь тогда сидел на веслах в лодке... а дрессировщик обезьян взял с собою шарманку в лодку и там крутил ее, помнишь, какая музыка была?!

– А потом, вечером, какой они устроили красивый бенгальский огонь, Франсуа!

– Да, этого колченогого верзилу скрягой не назовешь! Он дал мне десять су на чай, только мне!!! Вино он пил всегда из запечатанных бутылок; им всякий раз подавали к столу жареных цыплят; он прокутил не меньше восьмидесяти франков!

– Так много, Франсуа?

– Можешь мне поверить!..

– Стало быть, он такой богатый?

– Вовсе нет... он гулял на те деньги, что заработал в тюрьме, откуда только-только вышел.

– И все эти деньги он заработал в тюрьме?

– Ну да... а потом он говорил, что у него еще семьсот франков осталось; а когда больше денег не останется... он провернет хорошенькое дельце... а коли его заметут... то он этого не боится, потому как он вернется в тюрьму, а там у него остались дружки, они вместе кутили... а еще он сказал, что у него нигде не было такой хорошей постели и вкусной кормежки, как в тюрьме... там четыре раза в неделю дают хорошее мясо, всю зиму топят, да еще выходишь оттуда с кругленькой суммой... а ведь вокруг столько незадачливых работников, которые подыхают с голоду и от холода, когда у них нет работы...

– Он так вот прямо и говорил, этот хромой верзила, а, Франсуа?

– Я своими ушами слышал... я ведь говорил тебе, что сидел на веслах, когда они катались по реке, он все это рассказывал Тыкке и тем двум женщинам, а они прибавляли, что так живут и в женских тюрьмах, из которых они только-только освободились.

– Но тогда получается, Франсуа, что воровать не так уж плохо, раз так хорошо в тюрьме живется?

– Конечно! Знаешь, я и сам не понимаю, почему в нашем доме один только Марсиаль говорит, что воровать дурно... может, он ошибается?



Папаша Мику

– Все равно надо ему верить, Франсуа... он ведь так нас любит!

– Любить-то он нас любит, это верно... когда он тут, нас никто не смеет колотить... Будь он дома нынче вечером, мать не наградила бы меня колотушками... Старая дура! До чего она злая!.. Ох, как я ее ненавижу... мне так хочется поскорее вырасти, уж я бы ей вернул все тумаки, которыми она нас осыпает... особенно тебя, ты-то ведь послабее меня...

– О, замолчи, замолчи, Франсуа... меня просто страх берет, когда ты говоришь, что хотел бы поколотить нашу мать! – воскликнула бедная девочка, заливаясь слезами и обнимая брата за шею и нежно целуя его.

– Нет, ты мне вот что скажи, – заговорил Франсуа, нежно отстраняя Амандину, – отчего мать и Тыква всегда так злятся на нас?

– Я и сама не понимаю, – ответила девочка, вытирая глаза тыльной стороной кисти. – Может, потому, что нашего брата Амбруаза отправили на каторгу, а нашего отца казнили на эшафоте, они так несправедливы к нам...

– А мы-то чем виноваты?

– Господи, конечно, мы-то не виноваты, но что поделаешь?!

– Клянусь, если мне всегда, всегда придется получать трепку, я в конце концов соглашусь воровать, как им того хочется... Ну что я выигрываю оттого, что не краду?

– А Марсиаль, что он скажет?

– Ох, если бы не он!.. Я бы давно согласился стать вором, знаешь, как тяжело, когда тебя то и дело колотят; кстати, нынче вечером мать была до того зла... разъярилась, как ведьма... В комнате было темно, совсем темно... она ни слова не говорила... только держала меня за шею своей ледяной рукою, а другой рукой изо всех сил колотила... и вот тут мне и показалось, что глаза у нее сверкают, как угли...

– Бедный ты мой Франсуа... и все из-за того, что ты сказал, будто видел кость мертвеца в дровяном сарае.

– Да, его нога торчала там из-под земли, – проговорил Франсуа, вздрогнув от страха, – я готов дать руку на отсечение.

– Может, там когда-нибудь было кладбище, как ты думаешь?

– Все может быть... но тогда скажи, почему мать пригрозила, что она меня до полусмерти изобьет, если я расскажу об этой кости покойника нашему брату Марсиалю?.. Видишь ли, скорее кого-нибудь убили в драке и решили закопать в сарае, чтобы никто про это не узнал.

– Пожалуй, ты прав... помнишь, такая беда чуть было не случилась у нас на глазах.

– Когда это?

– Ну в тот раз, когда Крючок ударил ножом этого высокого мужчину, такого костлявого, такого костлявого, такого костлявого, что его за деньги показывали.

– А, помню... они еще называли его ходячим скелетом; мать тогда разняла их... а не то Крючок мог бы и уколошить этого сухопарого дылду! Видала ты, как у Крючка на губах появилась пена, а глаза чуть не вылезли на лоб?..

– О, этот Крючок не задумываясь готов из-за любого пустяка пырнуть человека ножом. Да, он отчаянный забияка!

– Он такой молодой и уже такой злой, правда, Франсуа?

– Ну, Хромуля еще моложе, а будь он посильнее, он был бы еще большим злыднем.

– Да, да, он очень злой!.. Несколько дней назад он меня поколотил, потому что я не захотела играть с ним.

– Он тебя поколотил?.. Ладно... Пусть только сюда еще раз явится...

– Нет, нет, Франсуа, он это так, в шутку, смеха ради.

– Ты правду говоришь?

– Да, чистую правду.

– Ну, тогда другое дело... а не то бы я... Но вот чего я не понимаю: откуда у этого мальчишки всегда столько денег? Вот кому везет! Когда он заявился сюда как-то с Сычихой, он показал мне две золотые монеты по двадцать франков. И с каким насмешливым видом он нам сказал: «И у вас бы водились деньжата, не будь вы такими чурбаками».

– А что это значит – быть чурбаками?

– На его жаргоне это значит быть дурнями, болванами.

- Ах, вот оно что.
- Сорок франков... золотом... сколько бы я на эти деньги славных вещей накопил... А ты, Амандина?
- О, я бы тоже.
- Что бы ты, к примеру, купила?
- Знаешь, – начала девочка, в задумчивости опустив голову, – раньше всего я купила бы хорошую куртку для нашего братца Марсиаля, теплую, чтобы он не мерз у себя в лодке.
- Ну а для себя?.. Для себя самой?
- Мне бы так хотелось маленького Иисуса из воска с крестиком и барашком, такого, какого продавец гипсовых фигурок продавал в то воскресенье... помнишь, на церковной паперти в Аньере?
- Кстати, как бы кто-нибудь не рассказал матери или Тыкве, что нас видали в церкви!
- Это верно, мать ведь раз и навсегда запретила нам входить в церковь!.. А жаль, потому как там, внутри, до того красиво... правда, Франсуа?
- Да... а до чего там хороши серебряные подсвечники!
- А изображение пресвятой девы... у нее такой добрый вид.
- А какие там красивые лампы... ты заметила? А яркая скатерть на большом столе, там, в глубине, где священник служил мессу с двумя своими друзьями, одетыми как и он... они еще подавали ему вино и воду.
- Скажи, Франсуа, помнишь, в прошлом году, в праздник Тела Господня, мы видели с тобой, как по мосту шли маленькие девочки, кажется, они шли, как говорят, к причастию. И все они были под белыми вуалями!
- И у всех в руках были пышные букеты!
- А какими нежными голосами они пели! И держались за шнуры своей хоругви!..
- А как сверкала на солнце эта расшитая серебром хоругвь! Она стояла, должно быть, кучу денег!..
- Боже мой, как все это было красиво! Правда, Франсуа?
- Еще бы! А у мальчишек, что шли к причастию, на рукавах были банты из белого атласа... А свечи, что они несли, были снизу закутаны в шитый золотом красный бархат.
- И эти мальчишки, хоть и совсем маленькие, тоже несли хоругвь, правда, Франсуа? Ах, боже мой! А мать в тот день меня поколотила, когда я у нее спросила, почему мы не участвуем в этом шествии, как другие дети!
- Вот тогда-то она и запретила нам заходить в церковь по дороге в соседний городок или в Париж, «разве только они согласятся стащить оттуда кружку для пожертвований или обшарить карманы нескольких прихожан, пока они слушают службу», – прибавила тогда Тыква, смеясь и скаля свои желтые зубы. Вот скотина проклятая!
- О, что до этого... пусть меня убьют, но я ни за что не стану воровать в церкви! Правда, Франсуа?
- Ну, воровать там или где еще, какая разница, если уж ты на это решишься!
- Так-то оно так! Только меня сомнение берет... там красть страшнее... я бы ни за что не посмела...
- Это почему? Из-за священников, что ли?
- Нет, скорее из-за пресвятой девы, у нее такой нежный и добрый вид.
- Что тебе-то до этого? Не съест же тебя Богородица, дуреха ты этакая!
- Это так... но все-таки я бы не смогла... И это не моя вина.
- Кстати, о священниках, Амандина; помнишь, однажды Николя наградил меня двумя увесистыми оплеухами за то, что я, когда встретил на площади священника, поклонился ему? Я видел, что все ему кланяются, вот я и поклонился; я не думал, что дурно поступаю.

– Да, но тогда почему-то и наш братец Марсиаль сказал, как и Николя, что нам совсем не обязательно кланяться священникам.

В эту минуту Франсуа и Амандина слышали в коридоре чьи-то шаги.

Марсиаль после разговора с матерью, считая, что Николя просидит под замком в погребе до утра, спокойно шел в свою комнату.

Заметив луч света, пробивавшийся сквозь полуприкрытую дверь комнаты, где спали дети, он вошел к ним.

Дети бросились к нему навстречу, он нежно их обнял.

– Как? Вы еще не улеглись, болтуншки?

– Нет, братец, мы ждали, когда вы пойдете к себе в комнату, чтобы пожелать вам доброй ночи, – ответила Амандина.

– А потом, мы слышали, что внизу очень громко разговаривали... и вроде как ссорились, – прибавил Франсуа.

– Да, мы там свели кое-какие счета с Николя... – сказал Марсиаль. – Но это пустяки... А вообще-то я доволен, что вы еще на ногах, я вам хочу сообщить хорошую новость.

– Нам, братец?

– Именно вам. Вы рады будете, если уйдете отсюда и вместе со мной поедете в другое место, далеко-далеко?

– О да, конечно, братец...

– Да, братец.

– Тем лучше! Дня через два или три мы все втроем уедем с острова.

– Как хорошо! – воскликнула Амандина, радостно захлопав в ладоши.

– А куда мы поедем? – спросил Франсуа.

– Потом узнаешь, ишь какой любопытный... да это и не важно, куда именно мы поедем, главное, ты обучишься доброму ремеслу... и сразу же станешь зарабатывать себе на жизнь... Это уж как пить дать.

– И я больше не буду ходить с тобой на рыбную ловлю, братец?

– Нет, мой мальчик, я отдам тебя в учение к столяру или слесарю; ты ведь у нас ловкий и сильный; коли будешь стараться и усердно работать, уже через год сумеешь кое-что зарабатывать. Погоди, что это с тобой?.. Чего ты приуныл?

– Дело в том... братец... я...

– Ну, говори, выкладывай.

– Дело в том, что мне больше по душе не расставаться с тобой, ловить вместе с тобой рыбу... чинить твои сети, а не обучаться какому-то ремеслу.

– Ты так считаешь?

– Конечно! Сидеть весь день взаперти в мастерской, – это до того уныло, а потом быть учеником так скучно...

Марсиаль молча пожал плечами.

– Стало быть, по-твоему, лучше лениться, бездельничать и шататься как бродяга? – сурово спросил он, помолчав. – А потом заделаться и вором...

– Нет, братец, но я бы хотел жить вместе с тобой где-нибудь в другом месте, но жить так, как мы живем здесь, вот и все...

– Ну да, вот именно: спать, есть, ходить для развлечения на рыбную ловлю, как богач какой-нибудь, не так ли?

– Да, это мне больше по вкусу...

– Может быть, но тебе придется полюбить другое занятие... Видишь ли, бедный ты мой Франсуа, сейчас самое время забрать тебя отсюда; а то ты и сам не заметишь, как станешь таким же прощелыгой, как все наши родичи... Мать, видно, права... Боюсь, что ты уже малость

приохотился к пороку... Ну а ты что скажешь, Амандина, разве тебе не хочется научиться какому-нибудь ремеслу?

– Очень хочется, братец... Я бы охотно чему-нибудь обучилась, мне это гораздо больше по душе, чем оставаться тут. Я буду так рада уехать вместе с вами и с Франсуа!

– Но что у тебя на голове, девочка? – спросил Марсиаль, заметив пышный убор Амандины.

– Это фуляр, мне его дал Николя...

– И мне тоже он дал, – гордо похвастался Франсуа.

– А откуда взялся этот фуляр? Я бы очень удивился, если б узнал, что Николя купил эти вещицы вам в подарок.

Дети опустили головы и ничего не ответили.

Мгновение спустя Франсуа, собравшись с духом, сказал:

– Николя нам дал их; а где он их взял, мы не знаем, правда, Амандина?

– Нет... нет... братец, – пролепетала Амандина, вспыхнув и не решаясь поднять глаза.

– Не лгите, – сурово сказал Марсиаль.

– А мы и не лжем, – дерзко возразил Франсуа.

– Амандина, девочка моя... скажи правду, – мягко настаивал Марсиаль.

– Ну ладно! Если по правде сказать, – робко заговорила Амандина, – эти красивые вещицы лежали в сундуке с материей, его вечером привез Николя в своей лодке.

– Значит, он украл этот сундук?

– Я думаю, что да, братец... он утащил его с галиота.

– Вот видишь, Франсуа, значит, ты солгал! – сказал Марсиаль.

Мальчик понурился и ничего не ответил.

– Дай-ка мне твою косынку, Амандина; давай и ты свой шейный платок, Франсуа.

Девочка сняла косынку с головы, в последний раз полюбовалась пышным бантом, который при этом не развязался, и подала косынку Марсиалю, подавив горестный вздох.

Франсуа медленно достал из кармана шейный платок и, как и сестра, протянул его старшему брату.

– Завтра утром, – сказал Марсиаль, – я верну и то и другое Николя; вам не нужно было брать эти лоскуты, ребята: коли пользуешься краденым – это все равно, что сам крадешь.

– А жаль все-таки, они так красивы – косынка и шейный платок, – пробормотал Франсуа.

– Когда обучишься ремеслу и станешь зарабатывать деньги своим трудом, ты купишь себе такие же красивые вещицы. Ну ладно, а теперь пора спать, малыши.

– Вы на нас не сердитесь, братец? – робко спросила Амандина.

– Нет, нет, девочка, ведь это не ваша вина... Вы живете среди прощелыг и, сами того не понимая, поступаете как они... Когда вы окажетесь среди честных людей, вы будете тоже поступать как честные люди; и вы скоро среди них окажетесь... черт меня побери!.. Ладно, доброй ночи!

– Доброй ночи, братец!

Марсиаль обнял обоих детей.

Они снова остались вдвоем.

– Что это с тобой, Франсуа? У тебя такой унылый вид! – сказала Амандина.

– Еще бы! Ведь брат отобрал у меня такой красивый шейный платок! А потом, ты разве не слышала?

– Ты о чем?

– Он хочет увезти нас куда-то и отдать там в обучение ремеслу...

– А тебе это не нравится?

– Нет, не нравится...

– Тебе больше по душе оставаться здесь, где тебя всякий день колотят?

– Да, меня колотят, но я, по крайней мере, не работаю, весь день я провожу в лодке: либо рыбу ловлю, либо просто играю или катаю клиентов по реке, а те иногда мне и на чай дают, как тот колченогий верзила; и это, знаешь, куда приятнее, чем с утра до вечера сидеть взаперти в какой-нибудь мастерской и работать как лошадь.

– Но разве ты не слыхал?.. Ведь братец сказал нам, что если мы тут еще долго останемся, то станем просто прощелыгами!

– Подумаешь! А мне это все равно... ведь дети в округе и так называют нас воришками или последышами казненного... А потом, все время работать – до того скучно...

– Но, братец, нас ведь здесь каждый день бьют!

– А бьют-то нас потому, что мы слушаемся Марсиаля, а не их...

– Он с нами такой добрый!

– Добрый-то он добрый, я с этим не спорю... и я ведь его люблю... При нем с нами не смеют дурно обращаться... он нас водит гулять... все это так... но и только... он ведь нам никогда ничего не дарит...

– Конечно... Но ведь у него самого ничего нет... все, что он зарабатывает, он отдает матери за еду и кров.

– А вот у Николя, у того всегда кое-что есть... Понятное дело, коли мы слушались бы его, да и мать тоже, они бы так не портили нам жизнь... дарили б нам разные наряды, как сегодня... они бы нас не боялись... и мы были бы всегда с деньгами, как Хромуля.

– Но, господи боже, ведь для этого пришлось бы воровать, а знаешь, как это огорчило бы нашего брата Марсиаля!

– Ну и что? Тем хуже!

– Как ты можешь такое говорить, Франсуа!.. А потом, коли нас поймают, нас ведь посадят в тюрьму.

– А по мне, что в тюрьме сидеть, что в мастерской весь день торчать – все одно... А кстати, колченогий верзила говорил, что там весело... в тюрьме.

– Ну а то, сколько мы горя принесем Марсиалю... ты об этом, видно, и не думаешь? Ведь он сюда ради нас вернулся и остается в доме; будь он один, он бы долго не раздумывал и вернулся бы в свои любимые леса, опять стал бы браконьером.

– Вот пусть и забирает нас с собой в эти леса, – заявил Франсуа, – так будет всего лучше. Я там буду вместе с ним, я ведь люблю его и не стану работать в мастерских, меня при одной мысли о них тоска берет.

Разговор между Франсуа и Амандиной внезапно прервался.

Снаружи дверь в их комнату заперли, дважды повернув ключ в замке.

– Нас заперли! – закричал Франсуа.

– Ах ты, господи... А почему это, братец? Что они собираются с нами сделать?

– Может, это Марсиаль сделал?

– Послушай... послушай... как лает его собака!.. – воскликнула Амандина, наострив слух.

Прошло несколько мгновений, и Франсуа сказал:

– По-моему, они колотят молотком по его двери... может, они хотят ее выломать?!

– Да, да, а собака Марсиаля все лает и лает...

– Послушай, Франсуа! А теперь вроде как куда-то гвозди заколачивают... Боже мой! Боже мой! Мне страшно. Что же они там делают с братцем? Теперь его собака уже не лает, а громко воет.

– Амандина... а теперь ничего не слышать... – заметил Франсуа, подходя к двери.

Дети, затаив дыхание, с тревогой прислушивались.

– А сейчас они затопали от комнаты Марсиаля, – тихо сказал Франсуа, – я слышу шаги в коридоре.

– Давай-ка ляжем в постель; мать нас убьет, коли увидит, что мы еще на ногах, – со страхом сказала Амандина.

– Нет... – продолжал Франсуа, все еще напряженно прислушиваясь. – Вот они опять прошли мимо нашей двери... а теперь быстро сбегают по лестнице...

– Господи! Господи! Да что ж это все означает?..

– Ага, а теперь они отворяют дверь в кухне...

– Ты так думаешь?

– Да, да... я слышал, как она скрипнула...

– А собака Марсиаля все воет да воет... – сказала Амандина, прислушиваясь...

И вдруг она закричала:

– Франсуа, наш братец Марсиаль нас зовет!..

– Марсиаль?

– Да... Разве ты не слышишь?.. Разве не слышишь?..

И в самом деле, несмотря на обе плотно прикрытые двери, ушей Франсуа и Амандины достиг звучный голос Марсиаля: из своей комнаты он звал обоих детей.

– Господи, а мы-то не можем к нему пойти... нас ведь заперли, – сказала Амандина, – ему хотят причинить зло, раз уж он нас зовет...

– Ох, уж что до этого... если б я мог им как-нибудь помешать, – решительно выкрикнул Франсуа, – я бы непременно им помешал, пусть бы даже они меня резали на куски!..

– Но ведь Марсиаль не знает, что нас заперли на ключ; как бы он не подумал, что мы не хотим прийти к нему на помощь; крикни ему, Франсуа, что нас заперли в комнате!

Мальчик хотел было последовать совету сестры, как вдруг сильный удар потряс снаружи ставень небольшого окна комнатухи, где были заперты дети.

– Они сейчас влезут в окно и убьют нас! – испуганно закричала Амандина; в страхе она бросилась на свою постель и закрыла лицо обеими руками.

Франсуа, хотя он испугался, как и сестра, неподвижно застыл на месте. Однако после упомянутого нами сильного удара ставень не открылся; гробовая тишина царила теперь в доме.

Марсиаль больше не звал детей.

Немного успокоившись и движимый сильным любопытством, Франсуа решился осторожно приотворить окошко, и теперь он старался разглядеть сквозь щели в ставне, что же происходит снаружи.

– Будь осторожен, братец, – прошептала Амандина; услышав, что Франсуа отворил окно, она приподнялась на своем ложе. – Ты что-нибудь там видишь? – спросила она.

– Нет... ночь такая темная.

– И не слышишь ничего?

– Нет, ветер так громко свистит.

– Тогда прикрой... прикрой же окно!

– Ага! А вот теперь я что-то разглядел.

– Что ж именно?

– Я вижу свет фонаря... он светит то тут, то там.

– А у кого он в руках?

– Я различаю только свет... Вот он приближается... теперь слышны голоса.

– Кто бы это мог быть?

– Слушай... слушай... это Тыква.

– А что она говорит?

– Говорит, чтобы крепче держали лестницу.

– Ах, теперь я понимаю! Когда они тащили большую лестницу, она упиралась в наш ставень, от этого и был такой шум.

– А теперь я больше ничего не слышу.

- А что они с этой лестницей делают?
- Больше ничего не могу разглядеть...
- А что-нибудь слышишь?
- Нет.

– Боже мой, Франсуа! Может, они для того потащили лестницу, чтобы залезть через окно в комнату нашего брата Марсиаля?!

- Вполне возможно.
- А что, если ты чуть-чуть отодвинешь ставень и посмотришь?
- Не решаюсь.
- Ну совсем капельку...
- Нет уж, нет. Коли мать заметит!..
- Такая темень стоит, что никакой опасности нет.

Франсуа нехотя выполнил просьбу сестренки, приоткрыл слегка ставень и стал смотреть.

– Ну что там, братец? – спросила Амандина: преодолев свои страхи, она встала с постели и на цыпочках подошла к брату.

– При свете фонаря, – сказал мальчик, – я вижу Тыкву, она стоит внизу и держит лестницу, они прислонили эту лестницу к окну Марсиаля.

- А дальше?
- Николя взбирается по лестнице со своим топориком в руке, топорик блестит на свету.
- Ах, вы еще не спите и шпионите за нами! – внезапно послышался громкий голос вдовы:

она снаружи грозно прикрикнула на Франсуа и Амандину.

Войдя на минуту в кухню, мать увидела луч света, пробивавшийся сквозь полуотворенный ставень.

Бедные дети забыли погасить фонарь в своей комнатушке.

– Сейчас я к вам поднимусь – и вы от меня не уйдете, доносчики!

Вот какие события происходили на острове Черпальщика накануне того дня, когда г-жа Серафен должна была привезти туда Лилию-Марию.

Глава IV

Меблированные комнаты

Пивоваренный проезд, проезд темный и малоизвестный, хотя он и находится в центре Парижа, упирается одним концом в улицу Траверсьер-Сент-Оноре, а другим – в подворье Сен-Гийом.

Посреди этой улочки – сырой, грязной, сумрачной и унылой, куда никогда не проникают лучи солнца, – возвышается дом с меблированными комнатами (их в просторечии именуют «меблирашками» по причине дешевой платы).

На дрянной вывеске можно прочесть: «Меблированные комнаты и квартиры»; справа от темного крытого прохода видна была дверь, она вела в лавку, не менее темную, где обычно пребывал содержатель меблированных комнат.

Человека этого, чье имя не раз уже упоминалось обитателями острова Черпальщика, звали Мику: числился он торговцем старыми скобяными товарами, но он тайно скупал и прятал краденые металлические изделия и сами металлы: золото, свинец, медь и олово.

Сказать, что папаша Микку поддерживал деловые и дружеские отношения с семьей Марсиалей, – значит должным образом охарактеризовать его нравственный облик.

Существует, между прочим, некое весьма любопытное и вместе с тем устрашающее явление: это своего рода таинственное общение и связь между почти всеми злоумышленниками столицы. Общие тюрьмы – огромные центры, куда стекаются и откуда затем растекаются волны социального разложения и развращенности, которые мало-помалу наводняют Париж, оставляя после себя окровавленные обломки и развалины.

Папаша Микку – толстяк лет пятидесяти, с порочным и хитрым лицом, прыщеватым носом и всегда красными от возлияний щеками; на голове у него красуется потерянная шапка из выдры, он вечно кутается в старый зеленый каррик.

Над небольшой чугунной печкой, возле которой папаша Микку греется, можно заметить прикрепленную к стене доску с цифрами; на ней висят ключи от комнат, жильцы которых в данный момент отсутствуют. Стеклопанная витрина, выходящая на улицу и забранная железными прутьями, забелена снизу, так что с улицы нельзя разглядеть (и тому есть свои причины) то, что делается в лавке.

В этом просторном помещении также царит почти полный мрак; на потемневших и сырых стенах висят ржавые цепи различной толщины и длины; весь пол почти сплошь завален грудями обломков железа и чугуна.

Троекратный стук в дверь, видимо условный, привлек к себе внимание содержателя меблированных комнат, а одновременно скупщика и укрывателя краденого.

– Войдите! – крикнул он.

На пороге появился человек.

Это был Николя, сын вдовы казненного.

Он был очень бледен; выражение его лица было еще более зловещим, чем накануне вечером, и вместе с тем было заметно, что он старался изобразить притворную и шумную веселость в завязавшемся затем разговоре (сцена эта происходила на следующий день после драки этого злодея со своим братом Марсиалем).

– Ах, это ты, дружище! – радушно сказал содержатель меблирашек.

– Конечно, папаша Микку; я приехал обделать с вами небольшое дельце.

– В таком случае притвори дверь... поплотнее притвори дверь...

– Дело в том, что моя собака и небольшая моя тележка остались там, снаружи... а в ней – товар.

– Что ж ты мне привез? Должно, свинчатки?⁶

– Нет, папаша Мику.

– Ну уж, конечно, и не металлическую мелочь со дна реки, ты ведь в последнее время совсем обленился, совсем своим делом не занимаешься... так, может, это железяки?⁷

– Да нет же, папаша Мику; это краснушка...⁸ там у меня четыре слитка... И весят они не меньше полутора ста фунтов: мой пес их с трудом дотащил сюда.

– Неси-ка сюда свою краснушку; мы все сейчас взвесим.

– Вам придется мне помочь, папаша Мику, а то у меня рука сильно болит.

И при воспоминании о драке со старшим братом на лице у злодея появилось одновременно выражение злобы и жестокой радости, как будто его месть уже увенчалась успехом.

– А что у тебя с рукой, малый?

– Так, пустяки... вывихнул.

– Надо раскалить железо на огне, опустить его в воду и сунуть руку в эту почти кипящую жидкость; так поступаем мы, торговцы старым железом... прекрасное средство!

– Спасибо, папаша Мику.

– Ладно, пошли за твоей краснушкой; так и быть, я помогу тебе, лентяй!

Они дважды ходили за слитками: вытащили их из небольшой тележки, куда был впряжен огромный дог, и притащили в лавку.

– Это ты здорово придумал с тележкой! – пробормотал папаша Мику, устанавливая деревянные чаши огромных весов, подвешенных к потолочной балке.

– Да, когда мне нужно что-нибудь привезти, я ставлю тележку и усаживаю моего дога в лодку, а причалив к берегу, запрягаю его. Кучер фиакра, пожалуй, проболтаться может, а мой пес – никогда.

– А дома у вас все благополучно? – осведомился скупщик краденого, взвешивая медные слитки. – Как мать, как сестра, обе здоровы?

– Да, папаша Мику.

– И дети тоже?

– Дети тоже. А где, кстати, ваш племянник Андре?

– Не говори! Он вчера знатно кутил; Крючок и этот колченогий верзила привели его сюда только под утро; а теперь он с поручением отправился... на главный почтамт пошел, знаешь, на улицу Жан-Жака Руссо. Ну а твой брат Марсиаль, все такой же дикарь?

– Ей-богу, ничего не знаю о нем.

– Как это, ничего не знаешь о нем?!

– Не знаю, и все, – ответил Николя, напуская на себя безразличный вид, – мы его уже два дня не видали... Может, он опять ушел в леса и там браконьерствует, если только его лодка... она такая старая... не пошла ко дну посреди реки и он не утонул вместе с нею.

– Ну ты-то, бездельник, не больно горевал бы, ведь ты своего брата терпеть не можешь?

– Это правда... мы с ним на вещи по-разному смотрим. Ну, сколько фунтов медь потянула?

– Глаз у тебя верный... в слитках, малый, сто сорок фунтов.

– Стало быть, с вас причитается?..

– Ровно тридцать франков.

– Тридцать франков, когда медь идет по двадцать су за фунт? И за все про все – тридцать франков?!

⁶ Листы свинца, которые воры сдирают с кровель.

⁷ Железо.

⁸ Медь.

– Ну так и быть, положим тебе тридцать пять франков, и не пыхти, а то я пошлю ко всем чертям твою медь, твоего пса и тебя вместе с твоей медью, псом и тележкой!

– Но, папаша Мику, уж больно вы меня надуваете; это уж ни в какие ворота не лезет!

– Коли ты мне докажешь, каким образом ты эту медь заполучил, я уплачу тебе по пятнадцать су за фунт.

– Всегда одна и та же песня... Все вы друг друга стоите, да, вы все просто шайка грабителей! Разве можно так бессовестно друзей обирать?! Но это еще не все: если я у вас кое-что оптом закуплю, вы мне, по крайней мере, скидку сделаете?

– Это уж как положено. А что тебе нужно? Цепи или крюки для твоих яликов?

– Нет, мне нужны четыре или пять листов очень прочного железа, таких, чтоб можно было сделать двойные ставни.

– У меня есть как раз то, что тебе нужно... Такой крепкий лист, что и пулей из пистолета не пробьешь.

– Да, именно такое железо мне и надобно!..

– А размер какой?

– Размер?.. Семь или восемь квадратных футов.

– Ладно! А еще что тебе понадобится?

– Три железных бруса длиной в три или четыре фута и двухдюймовой толщины.

– Я на днях тут разломал оконную решетку, прутья от нее подойдут тебе, как перчатка нужного размера... Ну, говори дальше.

– Два прочных шарнира и крепкую задвижку, чтоб можно было при необходимости быстро открыть или закрыть люк размером в два квадратных фута.

– Ты хочешь сказать: опускающую дверцу?

– Нет, крышку люка...

– Не понимаю, для чего тебе может понадобиться такая крышка?

– Вполне возможно... зато я понимаю.

– В добрый час: тебе остается только выбрать – у меня тут куча шарниров. Ну а чего ты еще хочешь?

– Больше ничего.

– Ну, для меня это плевое дело.

– Приготовьте для меня товар немедленно, папаша Мику, я все заберу на обратном пути; тут мне надо еще кое-что успеть.

– Опять поедешь с тележкой? Скажи-ка, балагур, что это за тюк в ней лежит? Должно быть, еще какая-нибудь вкусная снедь, которую ты где-то ловко прихватил? Ты ведь у нас известный лакомка!

– Золотые слова, папаша Мику; но только вы этого не едите. Не заставьте меня дожидаться моих скобяных товаров, я должен вернуться на остров не позже полудня.

– Не беспокойся, сейчас только восемь утра; коли ты недалеко собрался, можешь через час приехать, все будет готово – и деньги, и товар... Выпьешь стопочку?

– Не откажусь... тем более что с вас причитается!..

Папаша Мику достал из старого шкафа бутылку водки, треснутый стакан, чашку без ручки и налил себе и Николя.

– За ваше здоровье, папаша Мику!

– За твое, малый, и за живущих с тобою дам!

– Благодарствую!.. Ну а как идут дела в вашем меблированном заведении? Как всегда, хорошо?

– Дела идут ни шатко ни валко... Как обычно, есть несколько постояльцев, к которым вот-вот может нагрянуть полиция... но они платят щедро, как и положено.

– Это почему же?

– Ты что, дурачок?! Иногда я пускаю постояльцев, так же как беру товар... у этих-то паспортов не спрашиваю, как не спрашиваю накладных у тебя.

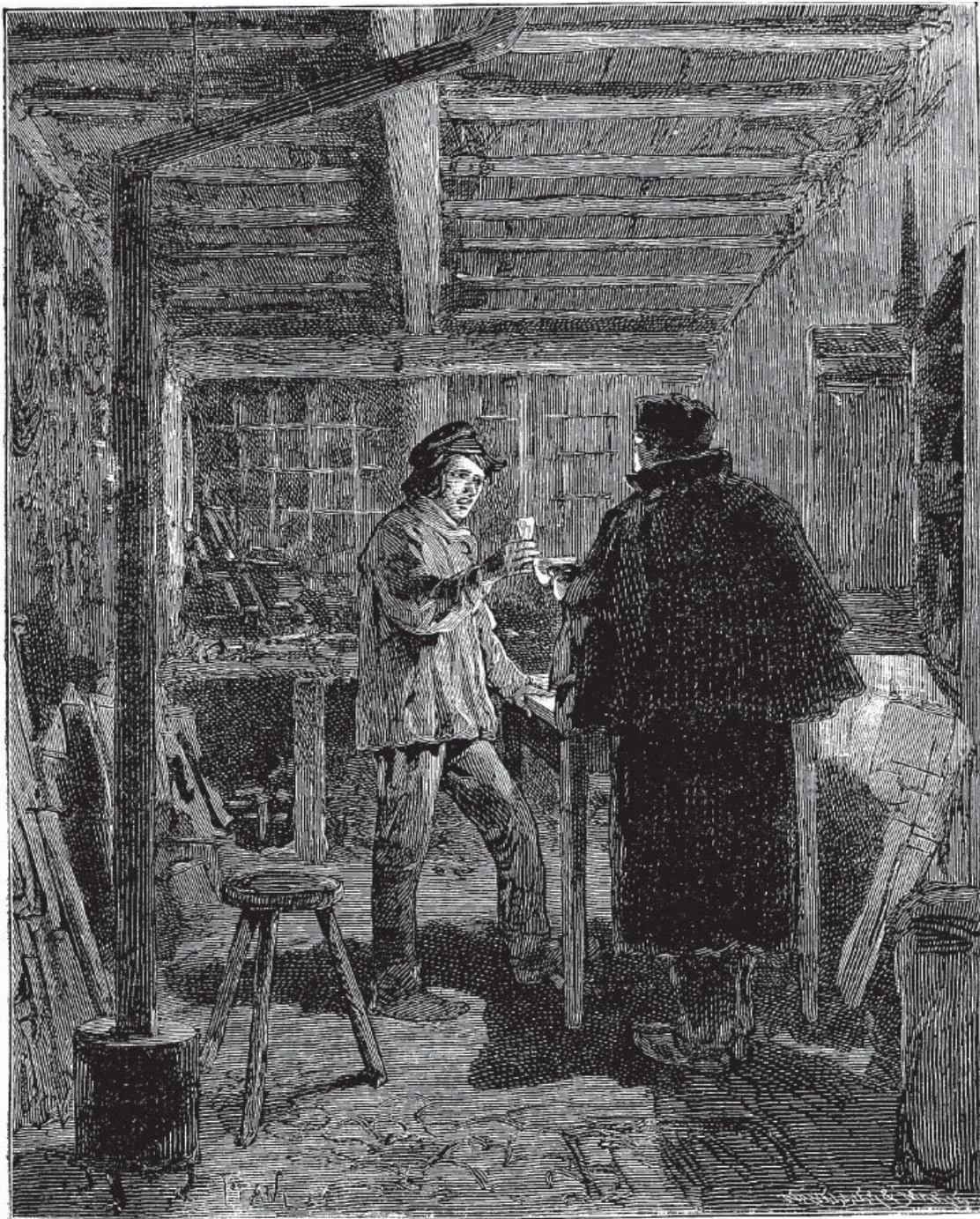
– Понятно!.. Но если вы у меня берете товар по дешевке, то с этих берете за постой хорошую цену.

– Приходится выкручиваться, ведь многим рискуешь... Есть у меня кузен, знаешь, он владелец прекрасной гостиницы на улице Сент-Оноре, а жена его – знатная портниха, на нее работают два десятка швей – кто в мастерской, а кто – на дому.

– Скажите-ка, старый волокита, там, должно быть, есть такие крали...⁹

– Еще бы! Я встречал там двух или трех, когда они приносили готовые заказы... Ну знаешь, они до того хороши! Особенно одна, молоденькая, она на дому шьет, она вечно смеется, ее даже прорвали Хохотушкой... Клянусь Господом Богом, сынок, просто досада берет, что мне не двадцать лет!

⁹ Красотки.



– *За ваше здоровье, папаша Мику!*

– *За твое, мальй, и за живущих с тобою дам!*

– Остыньте малость, папаша, а то я закричу: «Пожар!»

– Но она девушка честная, мой мальчик... уж такая честная...

– Вот дура-то! Ну да ладно... так вы сказали, что ваш кузен...

– Да, он знает толк в своем деле; а так как он того же пошиба, что и эта молоденькая Хохотушка...

– Тоже честный?

– Вот именно!

– Ну и дурень!

– Он принимает на постой только таких людей, у кого паспорта и все бумаги в порядке. Ну а коли является к нему такой, у которого не все ладно, он посылает этих субъектов ко мне, зная, что я не так придиричив и на многое смотрю сквозь пальцы.

– И эти-то платят, как положено в их положении?

– А как же иначе!

– Но ведь те, у кого бумаги не в порядке, должно быть, скокари?¹⁰

– Необязательно. Да вот, кстати, кузен прислал ко мне несколько дней назад двух постояльцев... Черт меня побери, только я никак не пойму, в чем тут дело... Еще по одной?!

– Идет... питье что надо!.. Ваше здоровье, папаша Мику!

– И твое, мой мальчик! Так вот, как я тебе уже сказал, на днях кузен прислал ко мне постояльцев, в которых я никак не разберусь. Представь себе мать и дочь, пришли они в поношенной одежде, все свои пожитки несли в старой шали, сразу понятно было, что с деньгами у них не густо. Так вот, хоть они, судя по всему, люди совсем никудышные, у них даже бумаг никаких нет и сняли они комнату на две недели... так вот, с тех пор как они тут живут, они с места не трогаются, будто сурки какие; и у них никто не бывает, ни одного мужчины не было, сынок... и все-таки, доложу тебе, не будь они такие худые да бледные, я бы сказал, что обе женщины что надо, особенно дочка! Ей лет пятнадцать или шестнадцать от силы... она такая беленькая, как... кролик, а глазищи – вот такие!.. Черт побери, до того хороши у нее глаза, до того хороши!

– Ну, я вижу, вы опять загорелись!.. А чем они занимаются, две эти женщины?

– Говорю тебе, что я сам ничего не понимаю... По виду они обе – женщины порядочные, а вот бумаг-то у них почему-то нет... Да, вот еще что: они получают откуда-то письма без адреса... Их фамилий на конверте нет.

– Как это?

– А вот так! Нынче утром они послали моего племянника Андре на главный почтамт, куда приходят письма до востребования, и велели ему спросить, нет ли письма, адресованного госпоже «Икс Зет». Письмо должно прибыть из Нормандии, из городка по названию Обье. Они все это на листке написали, чтоб Андре мог получить письмо, дав все эти разъяснения. Сам видишь, это птицы невысокого полета, раз уж они вместо имени пишут «Икс» или «Зет». И все-таки ни разу к ним мужчины не приходили.

– Смотрите, они вам за комнату не заплатят.

– Ну, такого старого воробья, как я, на мякине не проведешь! Я пустил их в комнату без камина и положил плату в двадцать франков за две недели, причем денежки потребовал вперед. Может, они чем больны, потому как вот уже два дня из комнаты не выходят. Но только несварением желудка они не страдают, потому как еще ни разу плиту не разжигали, не понимаю даже, что они едят, с тех пор как въехали. Но я опять тебе повторяю: бумаг-то никаких нет, а мужчин к себе не водят...

– Ну, коли у вас все постояльцы такие, папаша Мику...

– Знаешь, одни уезжают, другие приезжают; и ежели я пускаю на постой тех, у кого паспорта нет, то живут у меня и люди солидные. Вот, к примеру, среди моих постояльцев сегодня два коммивояжера, один почтальон, дирижер оркестра из кафе для слепых да еще одна дама, что ренту получает, все они люди порядочные; они-то и поддержат репутацию моих меблированных комнат, ежели комиссар полиции вздумает поближе к моему заведению присмотреться... Это, так сказать, не ночные постояльцы, а постояльцы, живущие при свете солнца.

– Когда его лучи проникают в ваш проезд, папаша Мику.

– Да ты шутник, как я погляжу!.. Выпьем еще по одной?

¹⁰ Воры.

– Охотно, только по последней, мне надо спешить... Кстати, Робен, этот колченогий верзила, все еще живет у вас?

– Да, его комната наверху... рядом с комнатой матери и дочери. Он кончает промывать деньги, заработанные в тюрьме... и, сдается, их у него уже немного осталось.

– Смотрите-ка остерегайтесь! Ведь он, по-моему, в бегах.

– Я и сам это знаю, но никак от него избавиться не могу. По-моему, он какое-то дело замышляет; этот мальчишка Хромуля, сын Краснорукого, приходил вчера вечером вместе с Крючком, они его разыскивали... Боюсь, как бы он не повредил моим почтенным постояльцам, этот окаянный Робен; так что, когда его двухнедельный срок кончится, я его вышвырну вон, скажу, что его комната заказана для какого-нибудь посланника или для мужа госпожи Сент-Ильдефонс, которая на ренту живет.

– Она на ренту живет?

– Еще бы! Занимает три комнаты и еще одну, что на фасад выходит, скажешь, мало? И всю мебель в них обновили, а еще она мансарду снимает для своей горничной... платит за все восемьдесят франков в месяц... деньги вносит вперед ее дядя, она ему уступает одну из комнат внизу, когда он приезжает сюда из своей деревни! Только я думаю, что деревня эта расположена, как бы тебе сказать, скорее на улице Вивьенн или на улице Сент-Оноре, во всяком случае, где-нибудь в этих местах.

– Ну, это дело знакомое!.. Она живет на ту ренту, что ей выплачивает этот старикан.

– Помолчи-ка! Вот как раз ее горничная идет!

Женщина, уже в возрасте, в белом переднике сомнительной чистоты, вошла в лавку скупщика краденого.

– Чем могу вам служить, госпожа Шарль?

– Папаша Мику, что, ваш племянник дома?

– Нет, он уехал с поручением на главный почтамт; должен вот-вот вернуться.

– Господин Бадино хотел бы, чтобы он немедленно отнес вот это письмо по указанному адресу; ответа не надо, но дело очень спешное.

– Через четверть часа он уже будет на пути туда, госпожа Шарль.

– Только пусть поторопится.

– Будьте благонадежны.

Горничная вышла.

– Что ж, она всем вашим постояльцам прислуживает, папаша Мику?

– Нет, что ты, дурачок! Это горничная госпожи Сент-Ильдефонс, той, что на ренту живет. А господин Бадино и есть ее дядя, он как раз вчера из своей деревни пожаловал, – сказал содержатель меблированных комнат, разглядывая письмо. Потом, прочтя адрес, он прибавил: – Погляди сам, какие у него знакомства! Я говорил тебе, что это люди солидные и почтенные, он пишет какому-то виконту.

– Вот это да!

– Держи, а вернее смотри: «Господину виконту де Сен-Реми, улица Шайо... Весьма спешно... Передать в собственные руки». Я полагаю, когда поселяешь у себя таких дам, что живут на ренту, а их дядья вдобавок пишут виконтам, можно смотреть сквозь пальцы на тех нескольких постояльцев, что ютятся на верхнем этаже дома. Не так ли?

– Я тоже так думаю. Ну ладно, до скорого свидания, папаша Мику. Я привяжу моего пса возле вашей двери и тележку оставлю; то, что мне надо отнести, я донесу пешком... Приготовьте же мне товар и мои деньги, чтобы я сразу мог и уехать.

– Будь спокоен: четыре прочных железных листа по два квадратных фута каждый, три железных бруска длиной в три фута и два шарнира для твоего люка. И зачем только тебе такой люк, не пойму; впрочем, это дело твое... Я ничего не забыл?

– Нет, а к тому еще мои денежки.

– Конечно, и деньги тоже... Но, скажи на милость, перед уходом я хочу тебя спросить... пока ты тут у меня сидел... я наблюдал за тобою...

– Ну и что?

– Не знаю, как лучше выразиться... но вид у тебя такой, будто что-то с тобой происходит.

– Со мной?

– С тобой.

– Да вы что, тронулись? Если со мной что и происходит... то это потому... что я есть хочу.

– Хочешь есть... хочешь есть... возможно... но я бы сказал, что ты прикидываешься веселым, а внутри у тебя сидит что-то такое, что свербит и точит... точно блоха, как говорится, не оставляет твою молчунью¹¹ в покое... и, видать, тебя это крепко тревожит, у тебя, должно, на сердце кошки скребут, а ведь ты у нас не тихоня какой...

– Повторяю вам, папаша Мику, что вы малость в уме тронулись, – сказал Николя, невольно вздрагивая.

– Вот видишь, ты вроде бы сейчас вздрогнул.

– Я дернулся потому, что у меня рука болит.

– Ну, коли так, не забудь моего рецепта, он тебя враз вылечит.

– Спасибо, папаша Мику... до скорого свидания.

И злодей вышел из лавки.

Скупщик краденого, спрятав медные слитки позади стойки, начал собирать различные предметы, заказанные Николя; в эту минуту в лавке появился какой-то человек.

Это был мужчина лет пятидесяти, с тонким лицом и проницательным взглядом, его физиономию обрамляли седые и очень густые бакенбарды, глаза его были скрыты очками в золоченой оправе; одет он был довольно изысканно: широкие рукава его коричневого пальто с обшлагами из черного бархата позволяли увидеть, что он был в перчатках светло-желтого цвета; его сапоги были, видимо, накануне тщательно натерты блестящим лаком.

То был г-н Бадино, дядюшка жившей на ренту г-жи Сент-Ильдефонс, чье социальное положение служило предметом гордости для папаша Мику и гарантировало ему безопасность.

Читатель помнит, быть может, что г-н Бадино, бывший стряпчий, изгнанный из своей корпорации, был теперь ловким мошенником и умелым ходатаем по различным сомнительным делам; вместе с тем им пользовался как шпионом барон фон Граун, и дипломат этот добывал с его помощью немало весьма точных сведений о большом числе действующих лиц нашего повествования.

– Госпожа Шарль только что передала вам письмо с просьбой отнести его, – сказал г-н Бадино содержателю меблированных комнат.

– Да, сударь... Мой племянник сейчас вернется, и он мигом отнесет письмо.

– Нет, верните мне это послание... я передумал и сам отправлюсь к виконту де Сен-Реми, – проговорил г-н Бадино, напыжившись и подчеркнуто напирая на эту аристократическую фамилию.

– Вот ваше письмо, сударь... Других поручений у вас не будет?

– Нет, папаша Мику, – ответил г-н Бадино с покровительственным видом, – но я должен кое в чем вас упрекнуть.

– Меня, сударь?

– Да, и упрекнуть весьма строго.

– В чем же дело, сударь?

– А вот в чем. Госпожа де Сент-Ильдефонс весьма дорого платит вам за ваш второй этаж; моя племянница принадлежит к числу тех квартиронанимателей, коим надлежит оказывать

¹¹ Совесть.

высочайшее уважение; она с полным доверием въехала в этот дом; ее раздражает шум экипажей, и она рассчитывала жить здесь в тиши, как за городом.

– Так оно и есть; у нас тут совсем как в деревушке... Вы ведь можете это оценить, ведь вы и сами, сударь, живете в деревне... а у нас тут как в настоящей деревушке...

– Деревушка? Хорошенькое дело! Да у вас тут просто адский шум стоит!

– И все-таки более спокойного дома, чем мой, не найдешь; над госпожой Сент-Ильдефонс живет дирижер оркестра из кафе слепых и еще некий коммивояжер... А чуть подальше – еще один коммивояжер. Кроме того, там...

– Речь идет не об этих людях, они ведут себя тихо и мирно, они люди вполне порядочные, и моя племянница с этим не спорит; но вот на пятом этаже живет колченогий верзила, его госпожа де Сент-Ильдефонс повстречала вчера на лестнице, он был пьян как сапожник и что-то рычал, как дикарь; у нее, у бедняжки, даже голова закружилась, до того она была перепугана... Ежели вы полагаете, что с подобными постояльцами ваш дом походит на мирную деревушку...

– Сударь, клянусь вам, я только жду подходящего случая, чтобы выставить этого хромоного верзилу за дверь; он уплатил мне за две недели вперед, если б не это, я бы давно его выставил вон.

– Не следовало пускать его на постой.

– Но, кроме него, я полагаю, госпоже вашей племяннице не на что жаловаться; тут у нас живет еще почтальон с соседней почты, он, я бы сказал, принадлежит к сливкам порядочного общества; а еще выше, рядом с комнатой этого верзилы, поселилась мать с дочерью, они сидят у себя дома тихо, как безобидные сурки.

– Повторю еще раз: госпожа де Сент-Ильдефонс жалуется только на колченогого верзилу; этот плут – позор для вашего дома! Предваряю вас, что, если вы оставите его в числе постояльцев, он разгонит всех порядочных людей.

– Уж я его выставлю, будьте благонадежны... я и сам за него не держусь.

– И хорошо сделаете... не то другие не станут держаться за ваши меблированные комнаты.

– А уж это мне ни к чему... Так что, сударь, считайте, что хромоногого верзилы здесь уже нет, он пробудет тут всего-то четыре дня.

– И это долго, слишком долго; впрочем, дело ваше... При первой же его выходке моя племянница покинет ваш дом.

– Будьте благонадежны, сударь.

– Ведь выставить его – в ваших же интересах, любезнейший. Это вам же на пользу пойдет... больше я повторять не буду, – сказал г-н Бадино с покровительственным видом.

С этими словами он удалился.

Надо ли нам пояснять, что упомянутые папашей Мику мать и ее юная дочь, что жили так замкнуто и одиноко, были жертвами алчности нотариуса Жака Феррана?

А теперь мы поведем читателя в жалкую комнатку, где они обретались.

Глава V

Жертвы злоупотребления доверием

Когда злоупотребление доверием карается, средний срок наказания таков: два месяца тюрьмы и штраф в размере двадцати пяти франков. (Статьи 406 и 408 уголовного кодекса.)

Мы попросим читателя представить себе комнатуху на пятом этаже унылого дома в Пивоваренном проезде.

Бледный свет тусклого дня едва проникает в эту узкую комнату сквозь небольшое одностворчатое оконце с потрескавшимися грязными стеклами; выцветшие обои, давно уже пожелтевшие, местами отстают от стен; в углах растрескавшегося потолка висит густая паутина. На полу не хватает нескольких половиц, и это позволяет разглядеть то тут, то там брусья и дранку, которые поддерживают пол.

Стол некрашеного дерева, стул, старый чемодан без замка и походная кровать с деревянным изголовьем, на которой лежит тонкий тюфяк, покрытый простынями из грубой серой ткани и потертым одеялом из коричневой шерсти, – вот и все убранство этой мебелишки.

На стуле сидит баронесса де Фермон.

На кровати лежит ее дочь Клэр де Фермон (так звали обеих жертв Жака Феррана).

Располагая только одной кроватью, мать и дочь ложились на нее по очереди и делили таким способом ночные часы.

Слишком много тревог, слишком много волнений терзали мать, и поэтому она нечасто поддавалась сну; но ее дочь обретала, по крайней мере, на этом жалком ложе несколько минут отдыха и забытья.

В это время она как раз спала.

Ничего не могло быть трогательнее и вместе с тем печальнее зрелища этой нищеты, на которую алчность нотариуса обрекла обеих женщин, прежде привыкших к скромным радостям безбедного существования и окруженных в своем родном городе уважением, которое внушает окружающим почтенная и почитаемая семья.

Госпоже де Фермон на вид лет тридцать шесть; ее бледное лицо выражает одновременно благородство и мягкость; черты ее, прежде говорившие о незаурядной красоте, ныне говорят о страдании; ее черные волосы разделены прямым пробором и стянуты на затылке узлом; горе уже посеребрило отдельные пряди волос. На ней – траурное платье, уже чиненное в некоторых местах; в эти минуты г-жа де Фермон, подперев лоб рукою, опирается локтем о жалкое изголовье кровати, на которой спит ее дочь, и смотрит на девушку с невыразимой грустью.

Клэр не больше шестнадцати лет; чистый и нежный профиль ее осунувшегося, как и у матери, лица выделяется на фоне грубой серой ткани, из которой сшита подушка, набитая опилками.

Кожа этой юной девушки уже утратила свою необычайную свежесть; ее большие черные глаза закрыты, на впалых щеках, точно густая бахрома, лежат длинные, тоже черные ресницы. Некогда влажные розовые губы теперь бледны и сухи, полуоткрывшись, они позволяют разглядеть ее ослепительно белые зубы; грубое прикосновение шершавых простынь и шерстяного одеяла оставили красные полосы на нежной шее, на плечах и на руках юной девушки: так на мраморе порой выступают розовые прожилки.

Время от времени легкий трепет сводит вместе ее тонкие бархатистые брови – возможно, в эти мгновения ее преследует тягостный кошмар. Лицо ее, на котором уже лежит печать какой-то болезни, выражает страдание, это свидетельствует о том, что в недрах несчастной зреет грозный недуг, его зловещие симптомы нетрудно угадать.

Уже давным-давно г-жа де Фермон не дает воли слезам; она устремила на дочь горячий взгляд сухих глаз: такой, без единой слезинки, взгляд говорит о лихорадочном состоянии,

которое медленно и тайно подтачивает ее. С каждым днем г-жа де Фермон, как и ее дочь, все больше ощущает томительную слабость и растущее изнеможение – предвестники исподволь развивающейся, но пока еще скрытой серьезной болезни; но, боясь напугать Клэр, а главное не желая, если можно так выразиться, напугать самое себя, она изо всех сил борется против начальных проявлений пожирающего ее недуга.

Движимая такими же великодушными мотивами, Клэр, страшась встревожить мать, старается скрыть свои страдания. Обе эти несчастные женщины, которых гложет одно и то же горе, видимо, поражены одной и той же болезнью.

В разгаре обрушившихся на человека невзгод наступает такая пора, когда будущее рисуется столь ужасным, что даже самые энергические натуры, не решаясь взглянуть прямо в лицо своим бедам, закрывают глаза и стараются обмануть себя безрассудными иллюзиями.

Именно в таком положении были г-жа де Фермон и ее дочь.

Чтобы дать представление о терзаниях этой женщины, угнетавших ее в те долгие часы, когда она неотступно смотрела на свою задремавшую дочь, думая о прошлом, настоящем и будущем, мы должны описать возвышенные и святые муки матери, муки скорбные, исполненные отчаяния, способные свести с ума: в них сплетаются волшебные воспоминания, зловещие страхи, грозные предчувствия, горестные сожаления, губительный упадок духа, взрывы бес- сильного гнева против виновника всех постигших ее бед, тщетные мольбы, жаркие молитвы и, наконец... наконец, устрашающие сомнения во всемогущей справедливости того, кто остается глух к воплю, рвущемуся из самой глубины материнской души... этому священному воплю, чей отзвук должен бы достичь небес, ибо мать вопиет: «Пожалей мою дочь!»

– Как ей, должно быть, сейчас холодно, – говорила несчастная мать, слегка прикасаясь своей озябшей рукой к заледеневшим рукам своего ребенка, – она совсем зачоченела... А какой-нибудь час тому назад она вся горела... У нее лихорадка!.. К счастью, она об этом не подозревает... Господи боже, ведь ей так холодно!.. Ведь одеяло это такое тонкое... Я прикрыла бы ее сверху моей старой шалью... но, если я сниму эту шаль с двери, на которую ее повесила... эти пьяные мужланы начнут, как вчера, подглядывать в замочную скважину или в щели разохшейся двери...

Господи, какой ужасный этот дом!

Знай я, что тут за постояльцы... до того, как внесла плату за две недели вперед... мы бы тут ни за что не остались... но ведь я ничего не знала... Когда у тебя нет никаких бумаг, тебя гонят из приличных меблированных комнат. А как мне было догадаться, что мне может когда-нибудь потребоваться мой паспорт?.. Когда мы выехали из Анже в собственной карете... ибо я полагала неприличным, чтобы моя дочь путешествовала в почтовом дилижансе... разве могла я предположить, что...

В эту минуту ее жалобы были прерваны взрывом ярости:

– Но ведь это же настоящая подлость... только потому, что этот нотариус вздумал меня обобрать, ныне я доведена до самой ужасной крайности, и я ничего не могу сделать, не могу бороться с ним! Ничего не могу сделать!.. Но нет... Будь у меня деньги, я могла бы обратиться в суд; обратиться в суд... чтобы услышать, как будут смешивать с грязью имя моего доброго и благородного брата, чтобы услышать, что он, разорившись, наложил на себя руки и сделал это после того, как промотал, растратил все мое состояние и состояние моей дочери... Судиться... для того чтобы услышать, будто он довел нас до крайней нищеты!.. О нет, никогда! Никогда! И все же, если память о моем брате священна, то ведь и жизнь и будущее моей дочери для меня тоже священны... но ведь у меня нет никаких доказательств, уличающих нотариуса, и я только вызову бесполезный, ненужный скандал...

– И что самое ужасное, самое ужасное, – продолжала она после короткого молчания, – это то, что порою, разгневанная и раздраженная нашим ужасным жребием, я решаюсь обвинять моего брата... признавать, что нотариус, быть может, прав, обвиняя моего брата... как

будто, если я стану проклинать двух людей, а не одного, это облегчит мои муки... но я почти тотчас сама возмущаюсь собственными предположениями – несправедливыми, отвратительными, направленными против лучшего, честнейшего из братьев! Ох, этот окаянный нотариус! Он даже и не подозревает обо всех ужасных последствиях совершенного им воровства... Он-то думал, что крадет только деньги, а на самом деле он подверг жестокой муке души двух женщин... двух женщин, которых он обрек умирать на медленном огне... Увы! Да, я не отваживаюсь и никогда не отважусь рассказать моей бедной девочке о моих тягостных опасениях, потому что я не могу так безжалостно огорчить ее... но я сама так страдаю... меня треплет лихорадка... меня поддерживает только энергия отчаяния; я чувствую, что во мне зреет зародыш болезни, быть может, опасной болезни... да, я чувствую, как она приближается... она все ближе и ближе... все в груди у меня горит, голова раскалывается... Эти симптомы гораздо серьезнее, просто я не хочу в этом сознаться даже самой себе... Господи боже!.. А ну как я совсем разболеюсь... если тяжело заболеть... если мне суждено умереть!.. Нет! Нет! – воскликнула с волнением г-жа де Фермон. – Я не хочу умирать... Покинуть мою Клэр... шестнадцатилетнюю девочку... без всяких средств к существованию, одинокую, брошенную в Париже... разве это мыслимо?.. Нет! Я вовсе не больна, в конце концов, что я такое испытываю?.. У меня небольшой жар в груди, голова тяжелая, все это – результат горя, бессонницы, холода, тревог; любой на моем месте испытал бы упадок сил... Но в этом нет ничего серьезного. Ладно, ладно, главное – не поддаваться слабости... господи боже! Если предаваться столь мрачным мыслям, ко всему прислушиваться в себе... можно и в самом деле заболеть... а мне как раз сейчас самое время болеть!.. Не так ли?! Нужно немедленно искать работу для себя и для Клэр, потому что тот человек, что давал нам раскрашивать гравюры...

Мгновение помолчав, г-жа де Фермон с негодованием продолжала:

– О, как это было отвратительно!.. Давать нам эту работу ценой позора для Клэр!.. Безжалостно отнять у нас столь хрупкое средство к существованию только потому, что я не согласилась, чтобы девочка одна приходила к нему работать по вечерам!.. Но, может быть, мы найдем какую-нибудь работу в другом месте, ведь я умею шить и вышивать... Да, но, когда никого не знаешь, это так трудно!.. Ведь только недавно я пыталась, но тщетно... Когда живешь в такой дыре, то, понятно, не внушаешь доверия; а ведь те небольшие деньги, что у нас еще остались, скоро кончатся... И что тогда?.. Что делать?.. Что с нами будет?.. Ведь у нас ничего не останется... совсем ничего... ни гроша не останется... А я же была богата!.. Не стану обо всем этом думать... от таких мыслей у меня голова кругом идет... я с ума схожу... Главная моя вина в том, что я слишком упорно об этом думаю, а необходимо отвлечься, и я постараюсь... Эти мрачные мысли и привели к тому, что я заболела... Нет, нет, я вовсе не больна... Я даже думаю, что меня уже меньше лихорадит, – прибавила несчастная мать, щупая у себя пульс.

Но увы! Пульс у нее бился неровно, прерывисто, с бешеной скоростью, и, ощутив это лихорадочное биение сквозь свою сухую, холодную кожу, она отбросила всякие иллюзии.

Мрачное и тяжелое отчаяние охватило ее, но, совладав с ним, она с горечью проговорила:

– Всемогуший Господь! За что ты нас караешь? Разве мы хоть когда-нибудь совершили что-либо дурное? Разве моя дочь не была истинным образцом чистоты и набожности? Разве ее отец не был живым олицетворением честности? Разве я всегда не выполняла достойно свой долг жены и матери? Почему ты позволил этому негодяю сделать нас своими жертвами?.. Меня, а особенно мою несчастную девочку!..

Когда я думаю, что если бы этот нотариус нас не обобрал, то я бы нисколько не тревожилась за судьбу моей дочери... Мы бы жили сейчас в своем доме, не беспокоясь о будущем, мы бы только с глубокой печалью и скорбью оплакивали смерть моего несчастного брата; года через два или три я бы начала думать о замужестве Клэр, и я нашла бы человека, достойного ее, такой доброй, очаровательной и красивой!.. Разве любой не посчитал бы себя счастливым, получив ее руку?.. Я ведь собиралась, выговорив себе небольшой пенсион, который позволил

бы мне жить рядом с нею, дать ей в приданое все, чем я располагала, ведь у меня было не меньше ста тысяч экю... и я была бы бережлива; а когда юная девушка, такая красивая и такая воспитанная, как мое милое дитя, приносит мужу в приданое больше ста тысяч экю...

Затем, словно по контрасту, г-жа де Фермон с горестью возвратилась в мыслях к печальной действительности и воскликнула точно в бреду:

– Но ведь это просто невысказано! Из-за злой воли какого-то нотариуса я покорно смиряюсь с тем, что моя дочь обречена на самую ужасную нищету!.. А ведь у нее были все права на безоблачное счастье... Если закон оставляет подобное преступление без кары, я этого так не оставляю; ибо, если судьба доводит меня до полного отчаяния и если я не нахожу никакого средства выбраться из того ужасного положения, в которое меня поставил этот негодяй, я сама не знаю, что я сделаю... я, я сама способна буду убить его, этого низкого человека. А потом пусть делают со мною, что хотят... все матери будут на моей стороне... Да... Но моя дочь?.. Что будет с нею? Разве могу я покинуть ее, оставить одну-одинешеньку? Вот в чем ужас... Вот почему я не хочу умирать... Вот почему я не могу убить этого человека. Что будет с нею? Ведь ей всего шестнадцать лет... Она так молода, она чиста и невинна, как ангел... и при этом так красива... Полная заброшенность, нищета, голод... все эти беды... соединившись вместе, могут помутить разум столь юного существа... и тогда на краю какой бездны может она оказаться?! О, это ужасно... чем больше я вдумываюсь в это слово «нищета», тем больше устрашающих угроз я в нем нахожу. Нищета... нищета жестока ко всем, но, быть может, особенно жестока она для тех, кто прожил свою жизнь в довольстве. И вот чего я не могу простить себе: как это, столкнувшись с такими ужасными бедами, я не в силах победить свою злосчастную гордость! Лишь в том случае, когда моя дочь останется буквально без куска хлеба, я решусь просить милостыню... Но ведь это же подло и низко с моей стороны!

И г-жа де Фермон прибавила с сумрачной горечью:

– Этот нотариус обрек меня на нищенство, стало быть, я обязана считаться с существующим положением; теперь мне уже не до щепетильности, не до разборчивости, все это осталось в прошлом; теперь же мне нужно просить милостыню и для себя, и ради дочери; да, если я не подыщу работу... мне придется решиться на то, чтобы молить о милосердии посторонних, ибо так пожелал этот нотариус. Без сомнения, и для того, чтобы успешно просить милостыню, нужна определенная сноровка, умение, но это приходит с опытом; я этому научусь; ведь это такое же ремесло, как и всякое другое, – прибавила несчастная женщина душераздирающим голосом. – И мне кажется, что у меня есть все, чтобы разжалобить сердобольных: ужасные беды, мной не заслуженные, и дочь шестнадцати лет... не девочка, а ангел... сущий ангел; но надо суметь, надо отважиться рассказать об этих «преимуществах»; и я добьюсь успеха.

– А вообще-то на что я, собственно, жалуюсь? – воскликнула г-жа де Фермон с мрачным смехом. – Материальное благосостояние вещь непрочная, преходящая... Нотариус, по крайней мере, заставит меня заняться каким-нибудь ремеслом.

Некоторое время она молчала, погрузившись в раздумье; потом снова заговорила, но уже немного спокойнее:

– Я часто думала о том, чтобы подыскать себе какое-нибудь место; я, например, завидую горничной той дамы, что живет на втором этаже; получи я это место, быть может, на свое жалованье я смогла бы удовлетворить насущные потребности Клэр... быть может, с помощью этой дамы мне удалось бы подыскать какую-нибудь работу и для дочери... она останется жить тут... Таким образом мы не расстанемся. Какое счастье... если бы все это так устроилось!.. О нет, нет, нет, это было бы чересчур прекрасно... такое бывает только во сне! А потом, чтобы занять это место, надо, чтобы эту горничную уволили... и, может, тогда ее судьба будет столь же плачевной, как и наша судьба. Ну и что же?! Тем хуже, тем хуже... Разве нотариус проявил щепетильность, обирая меня? Прежде всего – судьба моей дочери. Надо подумать, каким

образом войти в доверие к даме со второго этажа. И каким образом устранить ее служанку? Ведь это место было бы для нас неожиданной удачей!

Два или три сильных удара в дверь заставили задрожать г-жу де Фермон и разбудили ее дочь.

– Боже мой! Мама, что случилось? – воскликнула Клэр, рывком приподнимаясь на своем ложе.

Девушка неожиданно инстинктивно обвила руками шею матери, а та, испугавшись не меньше дочери, прижала ее к груди, со страхом глядя на дверь.

– Mamочка, что же случилось? – повторила Клэр.

– Я и сама не знаю, дитя мое... Успокойся... это пустяки... просто постучали в дверь... может быть, это принесли нам с почты письмо до востребования...

В эту минуту трухлявая дверь снова заходила ходуном: по ней кто-то изо всех сил молотил кулаками.

– Кто там? – дрожащим голосом спросила г-жа де Фермон.

В ответ послышался чей-то грубый, резкий и хриплый голос:

– Да вы что, оглохли, соседки? Эй, слышите... соседки?... Эй!..

– Что вам угодно, сударь? Я вас не знаю, – проговорила г-жа де Фермон, стараясь унять дрожь в голосе.

– Меня звать Робен... я ваш сосед... дайте-ка мне огоньку, трубку разжечь... да пошевеливайтесь там! Открывайте побыстрее!

– Боже мой! Ведь это хромой верзила, он вечно пьян, – тихо сказала мать дочери.

– Ах, так!.. Дадите вы мне огня, а то я все в щепки разнесу, разрази меня гром!

– Сударь, у меня нет огня...

– Тогда у вас есть серные спички... они у каждого имеются, отоприте... не то...

– Сударь... идите к себе...

– Стало быть, не хотите отворить... Считаю: раз... два...

– Я попрошу вас удалиться, или я позову на помощь...

– Считаю: раз... два... три... ну что? Не хотите отворить? Ну тогда я все разнесу!.. Ух, держитесь!..

И негодяй с такой силой бухнул по двери, что она поддалась, жалкая задвижка, на которую была заперта дверь, треснула.

Обе женщины испустили испуганный вопль.

Преодолевая владевшую ею слабость, г-жа де Фермон бросилась навстречу злодею, который уже ступил одной ногою в комнату, и преградила ему путь.

– Сударь, это низко! Я не позволю вам войти! – крикнула несчастная мать, изо всех сил удерживая полуотворенную дверь. – Я стану звать на помощь.

Говоря так, она дрожала при виде этого человека с отвратительным, распухшим от пьянства лицом.

– Чего это вы? Чего это вы? – возразил он. – Разве не должны соседи оказывать друг другу услуги? Надо было отворить дверь, и я бы ее не вышиб.

Затем с тупым упорством пьяницы он прибавил, покачиваясь на ногах, одна из которых была короче другой:

– Я желаю войти и войду... и не уйду, пока не разожгу свою трубку.



Девушка неожиданно инстинктивно обвила руками шею матери...

– Да нет же у меня ни огня, ни спичек. Ради бога, сударь, идите к себе.

– Неправду вы говорите, вы это придумали для того, чтобы я не мог поглядеть на девочку, что в кровати лежит. Вчера вы заткнули все щели в двери. Она у вас миленькая, я хочу на нее поглядеть... Берегитесь... Я вам сейчас физиономию расквашу, если вы не дадите мне войти... Говорю я вам, что непременно посмотрю на малышку в постели и разожгу свою трубку... а не то я у вас все сокрошу! А заодно и вас саму!..

– На помощь!.. Господи боже, на помощь! – закричала г-жа де Фермон, чувствуя, что дверь поддается: хромой верзила изо всех сил нажал на нее плечом.

Оробев от этого крика, Робен попятился и погрозил г-же де Фермон кулаком, прибавив:

– погоди, ты мне за все это заплатишь... Нынче же ночью я вернусь и прищемлю тебе язык, так что ты больше вопить не сможешь...

И колченогий верзила, как его называли на острове Черпальщика, ушел, изрыгая проклятия и угрозы.

Госпожа де Фермон, опасаясь, как бы он не вернулся, и видя, что задвижка сломана, с трудом подтащила к двери стол, забаррикадировав вход.

Клэр была так напугана и потрясена этой ужасной сценой, что без сил упала на свое убогое ложе во власти нервного приступа.

Госпожа де Фермон, забыв о собственных страхах, бросилась к дочери, заключила ее в объятия, дала ей выпить немного воды; ее заботы и ласки привели бедняжку в чувство.

Мало-помалу девушка пришла в себя, мать ей сказала:

– Успокойся... Не надо тревожиться, бедное мое дитя... Этот злой человек уже ушел.

Затем несчастная мать воскликнула с негодованием и невыразимой болью:

– К тому же первопричина всех наших мук и терзаний – этот отвратительный нотариус!..

Клэр оглядывалась вокруг с удивлением и страхом.

– Успокойся же, дитя мое, – продолжала г-жа де Фермон, нежно обнимая дочь, – этот негодяй ушел.

– Боже мой, мамочка, а ну как он снова поднимется и войдет? Ты ведь сама убедилась: ты звала на помощь, и ведь никто не пришел... Умоляю тебя, уйдем из этого дома... Я тут умру от страха.



Колченогий верзила

– Господи! Как ты дрожишь!.. У тебя сильный жар.

– Нет, нет, – ответила юная девушка, стремясь успокоить мать. – Это пустяки, меня лихорадит от испуга и скоро пройдет... Ну а ты, ты-то как себя чувствуешь? Протяни мне свои руки... Боже мой, они у тебя просто пылают! Теперь я вижу, что ты больна, только хочешь это от меня скрыть.

– Не думай так, девочка, я себя прекрасно чувствовала! И просто переволновалась, когда к нам вломился этот человек; я спала на стуле глубоким сном и проснулась одновременно с тобой...

– И все же, мамочка, у тебя такие красные глаза... такие красные, да они просто горят!

– Ах, дитя мое, ты ведь сама понимаешь: когда спишь, сидя на стуле, отдых совсем не тот!

– Скажи правду, ты не больна?

– Да нет же, уверяю тебя... А ты как?

– И я не больна; я только все еще дрожу от страха. Умоляю тебя, мамочка, уйдем из этого дома.

– И куда мы денемся? Ты ведь знаешь, с каким трудом нам удалось подыскать даже эту жалкую комнатку... ведь у нас, на беду, нет с собой никаких бумаг, а потом, не забудь: мы уплатили за две недели вперед, и нам этих денег не вернут... а их у нас осталось очень мало... так мало... что мы должны на всем экономить, на чем только можно.

– Может быть, господин де Сен-Реми пришлет нам на днях ответ?

– Я на это больше уже не надеюсь... Ведь я уже так давно ему написала!

– Он, должно быть, не получил твоего письма... Отчего ты не напишешь ему еще раз? Ведь отсюда до Анже не так уж далеко, и ответ от него скоро придет.

– Бедная ты моя девочка, разве ты не знаешь, сколько душевных сил мне это уже стоило?

– Чем ты рискуешь, мама? Он ведь хоть и брюзга, но такой добрый! Разве не был он одним из самых старинных друзей моего отца? И потом он, как-никак, наш родственник...

– Но он ведь и сам беден; у него очень скромное состояние. Может быть, он потому нам и не отвечает, что не хочет причинить лишнее горе своим отказом.

– Мамочка, а вдруг он не получил нашего письма?

– Ну а если он получил его, девочка? Одно из двух: либо он сам в столь стесненных обстоятельствах, что прийти нам на помощь не может... либо он не испытывает к нам больше никакого интереса: а тогда зачем подвергать себя возможному отказу и новому унижению?

– Мужайся, мама, ведь у нас остается еще одна надежда. Может быть, нынешнее утро принесет нам хорошие вести...

– Ответ от господина д'Орбиньи?

– Вот именно... Я прочла черновик посланного вами письма: вы так трогательно... так просто... так правдиво говорили о постигшем нас несчастье, что он, наверное, почувствовал к нам жалость. По правде говоря, что-то мне подсказывает, что напрасно вы впадаете в отчаяние, не надеетесь на графа.

– Но у него так мало резонов заинтересоваться нашей судьбой! Правда, в былые времена он знал твоего отца, и я часто слышала, как мой бедный брат говорил о господине д'Орбиньи как о человеке, с которым он состоял в очень добрых отношениях, это было до того, как господин д'Орбиньи уехал из Парижа в Нормандию вместе со своей молодой женой...

– Вот это-то как раз и позволяет мне надеяться; у него молодая жена, уж она-то нам непременно посочувствует... А потом, в деревне можно делать столько нужных вещей! Я думаю, что он, например, может взять вас к себе домоправительницей, а я стану работать в бельевой... Ведь господин д'Орбиньи очень богат, дом у него большой, и там всегда много разных дел.

– Так-то оно так, но у нас мало прав на его сочувствие!..

– Ведь мы же так несчастны!

– Ты права, для людей, по-настоящему милосердных, это и в самом деле очень важно.

– Будем уповать на то, что господин д'Орбиньи и его жена именно таковы.

– В конце концов, если нам станет ясно, что ждать от него нечего, я преодолею ложный стыд и напишу герцогине де Люсене.

– Это той самой даме, о которой нам так часто говорил господин де Сен-Реми, и он постоянно расхваливал ее доброе сердце и ее великодушие?

– Да, она дочь князя де Нуармон. Господин де Сен-Реми знал ее еще совсем ребенком, он даже смотрел на нее почти как на собственное дитя... потому что он был очень близок с князем. У госпожи де Люсене должны быть многочисленные знакомства, быть может, она сумеет подыскать мне, да и тебе тоже, какое-нибудь место.

– Без сомнения, мама; но я понимаю твою шепетильность, ты же ее совсем не знаешь, в то время как мой отец и мой бедный дядюшка были немного знакомы с господином д'Орбиньи.

– Ну а в том случае, если и госпожа де Люсене ничем не сможет нам помочь, я могу прибегнуть к последнему средству.

– Какому же, мамочка?

– Правда, это очень слабая... даже почти безрассудная надежда! Но отчего не попробовать?... Ведь сын господина де Сен-Реми...

– Разве у господина де Сен-Реми есть сын? – воскликнула Клэр, с удивлением перебивая мать.

– Да, девочка, у него есть сын.

– Но он о нем никогда не упоминал... и тот никогда не приезжал в Анже...

– Это верно; по некоторым причинам, о которых ты ничего не знаешь, господин де Сен-Реми, уехав из Парижа лет пятнадцать тому назад, с тех пор ни разу не видел своего сына.

– Сын целых пятнадцать лет не видел своего отца... Господи, разве такое возможно?..

– Увы! Сама видишь, что да... Я тебе вот что скажу: сын господина де Сен-Реми очень богат и очень часто бывает в свете...

– Он очень богат?... А отец его беден?

– Все свое состояние молодой человек унаследовал от матери...

– Но какое это имеет значение... как же он позволяет, чтобы его отец...

– Его отец ничего бы не принял от сына.

– А почему?

– Я и на этот вопрос не могу тебе ответить, милая моя девочка. Но я не раз слышала, как мой бедный брат говорил о том, что люди очень хвалят этого молодого человека за его великодушие и щедрость... Если он молод и великодушен, стало быть, он добр... Так что, узнав от меня, что мой муж был близким другом его отца, быть может, он пожелает принять в нас участие и постарается найти для нас какую-нибудь работу или место. У него многочисленные связи в высшем свете, и это будет ему нетрудно сделать.

– А потом, может быть, мы через него узнаем, не уехал ли его отец, господин де Сен-Реми, из Анже до того, как вы послали ему письмо; тогда станет понятно и его молчание.

– Я думаю, дитя мое, что отец и сын не поддерживают друг с другом никаких отношений. Но, в конце концов, попытаться можно...

– Разве что вы за это время получите благоприятный ответ от господина д'Орбиньи... Я повторяю вам, что, сама не знаю почему, помимо собственной воли, меня не оставляет надежда.

– Однако, дитя мое, я написала ему уже несколько дней назад, рассказала о причинах постигшей нас беды, и в ответ – ничего... все еще ничего... Письмо, отправленное с почты до четырех часов дня, должно прийти в Обье на следующее утро... Прошло пять дней, и мы могли бы уже получить ответ...

– Быть может, перед тем как ответить тебе, он думает, каким именно образом он может оказаться нам полезен.

– Да услышит тебя Господь Бог, дитя мое!

– По-моему, все объясняется так просто, мама... Если бы он не мог ничего для нас сделать, он бы тотчас же тебя об этом известил.

– Да, а если он и мог бы, но не хочет ничего для нас сделать...

– Ах, мамочка... разве так может быть? Не соизволить даже ответить и оставлять нас в неизвестности четыре дня, а то и целую неделю!.. Ведь когда человек несчастен, он всегда надеется...

– Увы! Дитя мое, порою приходится сталкиваться с полным безразличием к бедам, о которых толком ничего не знают!

– Но ваше письмо...

– Разве может он, получив мое письмо, представить себе те тревоги и страдания, какие ежеминутно терзают нас; разве может мое письмо обрисовать ему нашу злосчастную жизнь, все те унижения, которым мы подвергаемся, разве может он понять из него, какое ужасное существование ведем мы в этом отвратительном доме, тот страх, который мы только что испытали?.. И может ли, наконец, мое письмо живописать ему то страшное будущее, какое нас ожидает, если... Но ладно... дитя мое... не будем говорить об этом... Господи боже... ты дрожишь... тебе холодно...

– Нет, мамочка... не обращай внимания; но скажи мне, предположим, что та небольшая сумма денег, что лежит в этом чемодане, уже истрачена, что мы остались совсем без средств... неужели может случиться, что в таком богатом городе, как Париж... мы обе с тобой умрем с голоду и от нищеты... из-за отсутствия работы и только потому, что один злой и дурной человек отобрал у тебя все, чем ты располагала?..

– Молчи, мое бедное дитя...

– Нет, скажи наконец, мама, неужели это возможно?..

– Увы!

– Но ведь всеведущий и всемогущий Господь не может совсем нас покинуть. Ведь мы ни разу в жизни ничем не оскорбили его.

– Умоляю тебя, девочка, не предавайся столь мрачным мыслям... Мне гораздо приятнее видеть, как ты надеешься на лучшее, хотя, быть может, и без особых оснований... Послушай, утешь меня лучше твоими радужными иллюзиями; ты ведь знаешь... я так легко, слишком легко падаю духом...

– Да! Да! Будем уповать на лучшее... это гораздо легче. Племянник содержателя меблированных комнат непременно вернется сегодня с почты с письмом для нас... Придется опять заплатить ему за услугу из ваших скудных средств... и это по моей вине. Если бы вчера и сегодня я не была так слаба, мы бы сами пошли на почту, как третьего дня... но вы не хотели оставлять меня одну в этом доме на время вашего отсутствия.

– Но как же я могла это сделать, дитя мое?.. Посуди сама, только что... этот негодяй высадил дверь, а что было бы, будь ты в комнате одна!

– Ох, мамочка, молчи... при одной мысли об этом мне становится страшно...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

– О небо!.. Это он! – воскликнула г-жа де Фермон, все еще не оправившаяся от страха. И она изо всех сил придвинула стол вплотную к двери.

Ее испуг прошел, когда она услышала голос папаши Мику:

– Сударыня, мой племянник Андре вернулся с почтамта... Он принес письмо, где вместо адреса стоят буквы «Икс» и «Зет»... оно пришло издалека. Восемь су стоят почтовые расходы, а потом комиссионные... всего двадцать су.

– Мамочка... письмо из провинции, мы спасены... оно либо от господина де Сен-Реми, либо от господина д'Орбиньи! Милая мама, ты не будешь больше страдать, ты перестанешь тревожиться за меня, ты будешь счастлива... Господь справедлив... Он и впрямь всеблагой!.. – воскликнула юная девушка, и луч надежды озарил ее нежное и очаровательное личико.

– О сударь, благодарю вас... дайте письмо... дайте его поскорее! – воскликнула г-жа де Фермон, торопливо отодвигая стол и приотворяя дверь.

– С вас двадцать су, сударыня, – повторил скупщик краденого, показывая бедной женщине столь возжеленное письмо.

– Я сейчас заплачу вам, сударь.

– Ах, сударыня, я это так, к слову... особой спешки нет... Мне надо подняться на чердак и на крышу; минут через десять я вернусь и на обратном пути получу с вас деньги.

Он протянул письмо г-же де Фермон и ушел.

– Письмо из Нормандии... На почтовой марке стоит штемпель «Обье»... Оно от господина д'Орбины! – вскричала г-жа де Фермон, внимательно разглядывая письмо; на конверте стояло: «Госпоже Икс Зет... до востребования, Париж»¹².

– Ну что, мамочка, я была права?.. Боже мой, как колотится у меня сердце!

– Так или иначе, в этом письме заключен наш счастливый или несчастный жребий... – проговорила г-жа де Фермон взволнованным голосом, указывая на письмо.

Дважды она подносила дрожащую руку к сургучной печати, не решаясь сломать ее.

Она никак не могла собраться с духом.

Кто возьмется описать ужасную тревогу, во власти которой пребывают те, кто подобно г-же де Фермон ожидает прочесть в письме строки, рождающие надежду или повергающие в отчаяние?

Горячее, лихорадочное волнение игрока, который поставил на карту свои последние золотые монеты и, тяжело дыша, с воспаленным взглядом ожидает окончательного решения своей участи – своей гибели или спасения, – это сильнейшее волнение может дать некоторое понятие об ужасной тревоге, владевшей несчастной женщиной.

В одно мгновение душа такого человека возносится в мир радужных надежд или погружается в смертельное отчаяние. В зависимости от того, полагает ли он себя спасенным или отвергнутым, несчастный то и дело переходит от одного чувства к другому, противоположному: от несказанного ощущения радости и признательности к великодушному человеку, который сжалился над его горестной судьбой, к мучительной злобе против равнодушного эгоиста.

Когда речь идет о попавших в беду достойных людях, те, кто часто оказывает помощь, будут, вероятно, оказывать ее всегда... а те, кто всегда отказывает в помощи, будут, быть может, оказывать ее часто, если и те и другие будут знать или будут видеть, какую несказанную радость или какую ужасную боль может принести несчастным надежда на доброжелательную поддержку или же боязнь пренебрежительного отказа... словом, отношение к ним.

– Какая непростительная слабость! – воскликнула г-жа де Фермон, печально улыбнувшись и присев на постель, где лежала ее дочь. – Повторю еще раз: наша судьба заключена в этом письме, бедная моя Клэр... – И она указала на конверт. – Я просто горю желанием узнать, что в нем заключено, и не решаюсь. Если там отказ, то, увы, незачем спешить...

– Ну а если там обещание помощи, мамочка... Если в этом маленьком, с виду ничем не примечательном письме содержатся добрые и утешительные слова, которые успокоят наши тревоги за будущее, если нам обещают скромное место в доме господина д'Орбины, то разве каждая потерянная минута не означает потерянный миг счастья?

– Ты права, девочка, но если там, напротив...

– Нет, матушка, вы ошибаетесь, я уверена в хорошем. Когда я вам говорила, что господин д'Орбины так долго не отвечал вам, то это объяснялось тем, что он хотел удостовериться в возможности твердо вас обнадежить... Позвольте мне взглянуть на письмо; я уверена, что смогу угадать по одному лишь почерку на конверте, что в нем: хорошие или дурные вести... Да, теперь я уверена, – сказала Клэр, взяв письмо из рук матери, – достаточно посмотреть на этот красивый почерк, безо всяких завитушек, прямой и твердый, и сразу понимаешь, что писал человек верный и великодушный, привыкший приходить на помощь страждущим...

– Умоляю тебя, Клэр, не строй безрассудных надежд, не то у меня совсем не хватит духа распечатать это письмо.

– Боже мой, милая моя матушка, да я, и не распечатывая его, могу сказать вам, что в нем примерно сказано; послушайте: «Сударыня, ваша судьба и судьба вашей дочери вполне

¹² Госпожа де Фермон, написав это письмо в доме, где она прежде жила, и не зная в то время, где она сможет поселиться, просила г-на д'Орбины ответить ей письмом до востребования, но так как паспорта у нее не было, то для того, чтобы получить письмо на почте, она указала вместо адреса эти инициалы: этого было достаточно для получения адресованного ей письма.

достойны нашего участия; вот почему я прошу вас соблаговолить приехать ко мне, если вы хотите взять на себя обязанности моей домоправительницы...»

– Пощади меня, девочка, я снова и снова умоляю тебя... не строй безрассудных надежд... Пробуждение от волшебных грез будет чересчур ужасным... Ну ладно, больше мужества, – проговорила г-жа де Фермон, беря письмо из рук дочери и готовясь сломать наконец сургучную печать.

– Больше мужества? Для вас, пожалуйста! – воскликнула Клэр с улыбкой, охваченная порывом доверия, столь естественным в ее возрасте. – Я в нем не нуждаюсь; я заранее уверена, что в письме – хорошие вести. Подождите, хотите, я сама распечатаю письмо? И прочту вам его вслух?... Дайте мне конверт, милая моя трусишка...

– Да, пожалуй, так будет лучше, держи... Но нет, нет, пусть уж лучше я прочту сама. И г-жа де Фермон с замиранием сердца сломала сургучную печать.

Ее дочь, также глубоко взволнованная, несмотря на кажущуюся уверенность, едва дышала.

– Читай вслух, мама, – попросила она.

– Письмо довольно короткое; написано оно графиней д'Орбиньи, – сказала г-жа де Фермон, взглянув на подпись.

– Тем лучше, это добрый знак... Видишь, мамочка, эта прелестная молодая дама захотела тебе ответить сама.

– Сейчас все узнаем.

И г-жа де Фермон дрожащим голосом прочла нижеследующие строки:

«Сударыня!

Граф д'Орбиньи уже некоторое время серьезно болен и потому не мог в мое отсутствие ответить на ваше письмо...»

– Видишь, мама, значит, он не виноват.

– Слушай, слушай дальше!

«Возвратившись сегодня утром из Парижа, я спешу написать вам, сударыня, посоветовавшись перед тем с г-ном д'Орбиньи относительно вашей просьбы. Он весьма смутно припоминает те отношения, какие, по вашим словам, существовали между ним и вашим братом. Что касается имени вашего мужа, то оно действительно знакомо г-ну д'Орбиньи, однако он не может вспомнить, при каких обстоятельствах он его слышал и от кого именно. Мнимое мошенничество, в котором вы столь легкомысленно обвиняете г-на Жака Феррана, который, к нашему великому счастью, является нашим нотариусом, по мнению г-на д'Орбиньи, ужасная клевета, последствия которой вы, без сомнения, дурно рассчитали. Как и я сама, сударыня, мой муж хорошо знает этого весьма почтенного и благочестивого человека, на которого вы столь безрассудно нападаете, и восторгается его необыкновенной честностью. Вот почему я вынуждена сообщить вам, сударыня, что г-н д'Орбиньи, разумеется, глубоко сочувствуя затруднительному положению, в котором вы оказались, но не постигая истинных причин ваших невзгод, не считает для себя возможным оказать вам какую-либо помощь.

Соблаговолите, сударыня, принять выражение сожаления г-на д'Орбиньи по этому поводу, а также мои заверения в самых добрых чувствах к вам.

Графиня д'Орбиньи».

Мать и дочь в горестном изумлении уставились друг на друга: они не в силах были пронести ни слова.

В эту минуту папаша Мику постучал в дверь и сказал:

– Сударыня, могу ли я войти и получить деньги за почтовый сбор и комиссионные услуги? Всего двадцать су.

– Ах да, разумеется! Такая добрая весть стоит, чтобы мы заплатили за нее столько, сколько мы проедаем за два дня, – ответила г-жа де Фермон с горькой улыбкой. Оставив письмо на постели дочери, она подошла к старому чемодану без замка, наклонилась и откинула крышку.

– Нас обокрали! – воскликнула несчастная женщина с испугом. – Теперь у нас нет ничего, больше ничего, – прибавила она упавшим голосом.

И г-жа де Фермон в изнеможении оперлась на чемодан.

– Что ты такое говоришь, мама?.. А сумочка с деньгами?..

Госпожа де Фермон быстро выпрямилась, вышла из комнаты и, обратившись к скупщику краденного, который продолжал топтаться на пороге, крикнула:

– Сударь, в этом чемодане лежала моя сумочка с деньгами...

При этих словах глаза ее засверкали, а на щеках выступил лихорадочный румянец от возмущения и испуга.

– И сумочку эту, – продолжала она, – у меня украли позавчера, когда мы вместе с дочерью отлучались на час... Эти деньги нужно разыскать, слышите? Ведь вы отвечаете за сохранность нашего имущества.

– Вас обокрали?! Вот выдумки! Мой дом славится своей честностью, – грубо и нагло ответил владелец меблированных комнат. – Вы все это придумали, чтобы не заплатить мне за почтовый сбор и за доставку письма.

– Я повторяю вам, сударь, что эти деньги – все, чем я располагала, и меня обокрали; нужно отыскать их, или я подам жалобу. И я ни с чем не посчитаюсь, я ни перед чем не останавлиюсь... имейте это в виду, я вас предупреждаю.

– Вам только и подавать жалобу! Да ведь у вас и бумаг-то никаких нет... Ступайте же, жалуйтесь на здоровье! Ступайте немедленно... Я вам сам укажу куда!..

Несчастная женщина была сражена.

Она не могла даже выйти из дому и оставить одну свою дочь: бедная девочка лежала в постели совершенно без сил; она все еще не оправилась от испуга: утром ее до полусмерти напугал хромой верзила, а сейчас ее привели в ужас угрозы скупщика краденного.

Между тем папаша Мику продолжал:

– Все это притворство; у вас не было никакой сумочки с серебром, как не было и сумочки с золотом; просто вы не хотите уплатить мне за доставку письма, не правда ли? Ладно! Мне все равно... Когда вы будете проходить мимо моей двери, я сорву у вас с плеч эту старую черную шаль... Она сильно выцвела, но уж двадцать-то су она, во всяком случае, стоит.

– Ах, сударь! – воскликнула г-жа де Фермон, обливаясь слезами. – Помилосердствуйте, пожалейте нас... ведь эта скромная сумма серебром – это все, что у нас с дочерью оставалось; господи, и вот ее украли, и теперь у нас не осталось ничего... слышите, ничего... Мы просто-напросто умрем с голода!..

– Да я-то что могу поделать, как я могу помочь?! Если вас и вправду обокрали... и унесли ваше серебро (мне в это что-то не верится), то ваши денежки уже давно, как говорится, плакали!

– Господи боже! Господи боже!

– Молодчик, который обстригал это дело, вряд ли будет таким добрым малым, чтобы пометить ваши серебряные монеты и держать их у себя, чтобы его с ними сцапали; не думаю, чтобы это мог сделать кто-либо из постояльцев, потому как еще нынче утром я говорил дяде дамочки со второго этажа, что у нас тут тихо, как в деревушке; так что, коли вас обокрали, это и впрямь беда. Можете подать сто тысяч жалоб, но не получите ни одного сантима... ничего вы не добьетесь... это я вам говорю... можете мне поверить... Эй-эй! – крикнул папаша

Мику, прерывая свою речь. – Да что это с вами?.. Вы побледнели, как мел... Будьте поосторожнее!.. Мадемуазель, вашей матушке дурно!.. – прибавил скупщик краденого, быстро подходя к несчастной женщине и в последнюю минуту подхватив ее: сраженная последним ударом, она лишилась чувств; лихорадочная энергия, которая так долго поддерживала г-жу де Фермон, оставила ее при новом испытании.

– Мамочка!.. Что с тобою? Боже мой! – воскликнула Клэр, все еще лежавшая в постели.

Скупщик краденого, еще достаточно сильный, несмотря на то что ему уже стукнуло пятьдесят, охваченный чувством мимолетной жалости, подхватил г-жу де Фермон на руки, толкнул коленом дверь, мешавшую ему войти в комнату, и сказал, обращаясь к Клэр:

– Мадемуазель, простите, что я вхожу к вам, когда вы лежите в постели, но приходится: мне нужно отвести вашу матушку... она без чувств... но это, должно быть, недолго продлится.

Увидя входящего мужчину, Клэр испустила крик ужаса и закуталась с головой в одеяло.

Папаша Мику усадил г-жу де Фермон на стул, стоявший возле походной кровати, и ушел, оставив дверь полуотворенной, ибо задвижку от нее сломал хромоногий верзила.

Через час после этого последнего потрясения серьезная болезнь, уже давно подтачивавшая г-жу де Фермон и угрожавшая ее жизни, наконец проявилась.

Вся в жару, в лихорадке, в страшном бреду, несчастная женщина легла в постель своей совершенно растерявшейся дочери, а та – одна-одинешенька, почти столь же больная, как и ее мать, без гроша в кармане, без средств к существованию трепетала от страха, боясь, что в любую минуту в комнату может ворваться злодей, живший на той же лестничной площадке.

Глава VI

Улица Шайо

Мы опередим на несколько часов г-на Бадино, который торопился попасть из Пивоваренного проезда в дом виконта де Сен-Реми.

Виконт, как мы уже говорили, жил на улице Шайо; он один занимал небольшой очаровательный особняк, окруженный двором и садом, в пустынном квартале, хотя и расположенном по соседству с Елисейскими полями – самым модным местом для прогулок парижан.

Нет смысла перечислять все те преимущества, которые г-н де Сен-Реми, весьма склонный к любовным похождениям, извлекал из местоположения своего жилища, столь умело выбранного им. Скажем только, что любая женщина могла очень быстро попасть к нему, пройдя через небольшую калитку обширного сада; калитка эта выходила во всегда безлюдный переулок, соединявший улицу Марбеф с улицей Шайо.



Г-н Бадино торопился попасть в дом виконта де Сен-Реми.

Наконец, благодаря поистине чудесной случайности одно из самых превосходных садоводств столицы также имело редко используемый выход в тот же переулок; таким образом, таинственные посетительницы г-на де Сен-Реми в случае неожиданной и непредвиденной встречи были всегда вооружены вполне благовидным и, так сказать, буколическим предлогом, объяснявшим, почему они оказались в этом роковом переулке.

Они могли бы сказать, что направлялись к знаменитому садовнику-цветоводу за букетом редких цветов, ибо он по праву славился своими замечательными теплицами.

Эти прелестные посетительницы, впрочем, солгали бы лишь наполовину: у самого виконта, щедро одаренного истинным вкусом к изысканной роскоши, была собственная прекрасная теплица, тянувшаяся вдоль переулка, о котором мы уже упомянули; маленькая, скры-

тая кустами дверь выходила в этот очаровательный зимний сад, который упирался прямо в будуар (да простят нам это старомодное слово), расположенный в нижнем этаже особняка.

Да будет нам позволено сказать без всякой метафоры, что женщина, переступавшая этот опасный порог, чтобы попасть к г-ну де Сен-Реми, шла навстречу своей гибели по цветущей тропе; ибо, особенно зимою, эта очаровательная аллея была окаймлена пышными кустами красивых и благоуханных цветов.

Госпожа де Люсене, ревнивая, как и всякая страстная женщина, потребовала у виконта ключ от этой маленькой двери.

Если мы чуть подробнее остановимся на общем характере этого необычного жилища, то должны будем заметить, что оно, так сказать, отражало, как в зеркале, одно из тех постыдных существований, которых с каждым днем становится, к счастью, все меньше и меньше, но о которых стоит упомянуть, как о странных приметах описываемой эпохи; мы хотим поговорить о существовании тех мужчин, которые играют в жизни женщин ту же роль, какую играют в жизни мужчин куртизанки; за отсутствием более точного определения мы назовем таких людей, если нам это будет позволено, мужчинами-куртизанками.

В этом отношении внутреннее убранство особняка г-на де Сен-Реми представляло собою довольно любопытное зрелище.

Но прежде всего надо сказать, что особняк этот был разделен на две совершенно различные половины.

В нижнем этаже виконт принимал женщин.

На втором этаже принимал своих партнеров по карточной игре, сотрапезников, людей, с которыми он вместе охотился, – словом, тех, кого именуют приятелями...

Поэтому в нижнем этаже была расположена спальня: здесь все было в золоте, в зеркалах, в цветах, атласе и кружевах; рядом находились небольшая гостиная для музицирования, тут можно было увидеть арфу и фортепьяно (г-н де Сен-Реми был отличный музыкант) и кабинет, где висели картины и были собраны различного рода редкости; будуар соседствовал с теплицей; кроме того, была здесь и крошечная уютная столовая на две персоны, где можно было мигом накрыть на стол и убрать со стола; имелась здесь и ванная – законченный образец восточной изысканной роскоши, а помимо всего, была тут и небольшая библиотека, частично подобранная по каталогу библиотеки, которую Ламеттри составил для Фридриха Великого.

Незачем говорить, что все эти комнаты, обставленные с редким вкусом, с поистине сказочной роскошью, были украшены малоизвестными полотнами Ватто, никому не ведомыми холстами Буше, скульптурными группами статуэток из не покрытого глазурью фарфора и терракоты; на подставках из яшмы или брекчии стояли копии изящных статуэток из белого мрамора: их подлинники хранятся в музее Лувра. Прибавьте к этому, что летом все как бы обрамлялось зелеными кустами и цветниками густого сада, безлюдного, полного цветов, населенного певчими птицами, освежаемого ручейком быстро бегущей воды: перед тем как оросить зеленую лужайку, она обрушивалась на нее с высоты черного утеса и сверкала как полоса серебряного газа, а затем, блеснув как перламутровая пластина, терялась в прозрачном водоеме, где плавали и резвились белые лебеди.

Когда же опускалась теплая ясная ночь – сколько было трепетной тени, благоухания, загадочной тишины в купах источающих аромат деревьев, чья густая листва служила нерукотворным балдахином, словно сплетенным из тростника и индийских циновок!

Зимой же, напротив, все, кроме застекленной двери, что вела в теплицу, все было плотно заперто: прозрачные шелка занавесей, сеть отделанных кружевом драпировок придавали слабому дневному свету какой-то таинственный оттенок; на столиках, секретерах и комодах – всюду виднелись вазы с экзотическими растениями: они походили на огромные чаши, отличавшиеся золотом и эмалью.

В этом безмолвном убежище, наполненном пряно пахнущими цветами, сладострастными полотнами художников, вы как бы дышали атмосферой любви, пьянящей атмосферой, переполнявшей душу и чувства жгучим томлением.

Наконец, чтобы полностью воздать должное этому дому, напоминавшему античный храм, воздвигнутый для любви либо в честь обнаженных богинь Древней Греции, добавим, что в нем жил молодой и красивый человек, элегантный и утонченный, то остроумный, то нежный, то романтический, то любовный, то насмешник, сумасброд и весельчак, то полный очарования и прелести, прекрасный музыкант, одаренный тем вибрирующим голосом, полным страсти, слушая который женщины ощущают глубокое волнение... почти физическое возбуждение, словом, человек, прежде всего влюбленный... всегда влюбленный... Таким был виконт де Сен-Реми.

В Афинах его бы, без сомнения, боготворили, безмерно обожали, обожествляли как нового Алкивиада; но в наши дни в описываемую нами эпоху виконт был всего лишь презренным изготовителем подложных векселей, всего лишь жалким мошенником.

Второй этаж особняка г-на де Сен-Реми, напротив, являл собою жилище мужчины-холостяка.

Именно здесь он принимал своих многочисленных друзей, причем все они принадлежали к высшему обществу.

Тут вы не встретили бы ничего кокетливого, ничего, отмеченного печатью женственности: простая и строгая обстановка, вместо украшений – дорогое и красивое оружие, портреты скаковых лошадей, которые принесли виконту множество великолепных золотых и серебряных кубков, стоявших на столиках и подставках; курительная комната и гостиная, где играли в карты или метали кости, соседствовали с убранной до блеска столовой, где восемь персон (число приглашенных строго соблюдается, когда речь идет об изысканном обеде) не один раз высоко оценивали искусство повара и превосходные вина из собственного погреба виконта; затем составлялась партия в вист, игра часто принимала весьма нервический характер, ибо ставки поднимались до пятисот и даже шестисот луидоров; а в иные дни гости – каждый в свой черед – шумно постукивали стаканчиком для игральные костей.

Теперь, когда мы описали две различные половины особняка г-на де Сен-Реми, читатель, надеемся, соблаговолит последовать за нами в, так сказать, более низменные пределы – иными словами, войдет в каретный двор и поднимется по маленькой лестнице, что вела в весьма комфортабельные покои Эдвардса Паттерсона, ведавшего конюшней виконта де Сен-Реми.

Сей знаменитый coachman¹³ пригласил в тот день к себе на завтрак г-на Буайе, доверенного камердинера виконта. Очень хорошенькая служаночка-англичанка удалилась, принеся перед тем чайник, и двое мужчин остались вдвоем.

Эдвардсу было на вид лет сорок; никогда еще более искусный и толстый кучер не отягощал сиденье более внушительной округлой частью тела, не обрамлял белым париком более багровую физиономию и не держал с большей элегантностью в кулаке левой руки вожжи запряженной в карету четверни. Столь же превосходный знаток лошадей, как Татерсейл из Лондона, не уступавший в молодости столь опытному кучеру, как прославленный и уже пожилой Чиффни, Эдвардс был сущей находкой для виконта де Сен-Реми, ибо тот обрел в его лице – а такое редко встречается – не только прекрасного кучера, но и человека, умеющего великолепно тренировать скаковых лошадей; виконт держал их в своей конюшне, чтобы иметь возможность заключать выгодные пари.

Эдвардс, когда он не восседал в своей нарядной, расшитой золотом коричневой ливрее на сиденье кареты, украшенной гербами виконта, сильно смахивал на почтенного английского фермера; в таком обличье мы и представим его читателю, присовокупив, однако, что, несмотря

¹³ Кучер (англ.).

на добродушную и румяную физиономию Эдвардса, опытный наблюдатель мог бы угадать в нем безжалостное и дьявольское коварство барышника.

Его гость, г-н Буайе, доверенный камердинер г-на де Сен-Реми, был высокий и сухощавый человек с гладкими седыми волосами, полысевшим лбом, проницательным взглядом, с холодным, скрытным и сдержанным выражением лица; он употреблял в своей речи изысканные выражения, отличался весьма учтивыми манерами, держался весьма непринужденно, кое-что почитывал, придерживался консервативных взглядов в политике и мог с честью исполнять партии первой скрипки в любительском квартете; время от времени он величественным жестом брал понюшку табака из своей золотой, отделанной тонким жемчугом табакерки... после чего небрежно разглаживал тыльной стороной кисти, не менее ухоженной, чем у его хозяина, складки на своей сорочке из тонкого голландского полотна.

– Знаете ли вы, любезный мой Эдвардс, – объявил Буайе, – что ваша служаночка вполне сносно справляется со своими обязанностями домоправительницы почтенного дома?

– Право же, она очень милая девица, – отвечал Эдвардс, который превосходно говорил по-французски, – и я возьму ее в мое собственное заведение, если я все же решусь обзавестись таковым; кстати, раз уж мы оказались вдвоем, любезный мой Буайе, потолкуем о наших делах, вы ведь знаете в них толк?

– Да, я кое в чем разбираюсь, – скромно ответил Буайе, беря очередную понюшку табака. – Когда занимаешься делами других людей, то, само собой разумеется, кое-чему непременно научишься.

– Я хотел бы получить от вас очень важный для меня совет, именно для этого я и пригласил вас к себе на чашку чая.

– Весь к вашим услугам, любезный мой Эдвардс.

– Вы знаете, что, помимо тренировки скаковых лошадей, я условился с господином виконтом о том, что буду полностью ведать его конюшней – и животными и людьми, – иными словами, восемью лошадьми и пятью или шестью гругами и подручными, получая за все это двадцать четыре тысячи франков в год. «Сколько, по-вашему, стоят по самой дешевой цене мои лошади и экипажи?» – спросил господин де Сен-Реми. «Господин виконт, восемь лошадей не могут быть проданы дешевле, чем по три тысячи франков каждая (и это так, Буайе, ибо за пару лошадей для фаэтона заплатили пятьсот гиней), так что всего получится за лошадей двадцать четыре тысячи франков. Что касается экипажей, у нас их четыре, положим за все двенадцать тысяч франков, прибавим эти деньги к тем двадцати четырем тысячам, что выручим за лошадей, получится тридцать шесть тысяч франков». – «Превосходно! – продолжал господин виконт, – купите у меня все оптом за эту сумму, при одном условии: помимо причитающихся вам двадцати четырех тысяч франков вы оставите себе остальные двенадцать тысяч, но зато в течение полугода вы будете по-прежнему ухаживать за лошадьми, ведать людьми и экипажами, но все это останется на этот срок в моем распоряжении».

– И вы благоразумно согласились на эту сделку, Эдвардс? Ведь предложение вам было сделано, можно сказать, золотое.

– Конечно, через две недели установленные шесть месяцев истекнут, и я вступаю во владение и лошадьми, и экипажами.

– Чего уж проще. Акт был составлен господином Бадино, стряпчим господина виконта. Так в каком же моем совете вы нуждаетесь?

– Как мне лучше поступить? Продать лошадей и экипажи в связи с отъездом господина де Сен-Реми, а продать их будет легко и за хорошую цену, потому что он известен как лучший знаток лошадей в Париже; или же мне стоит самому заняться торговлей лошадьми, завести собственную конюшню, ведь начало уже положено? Что вы мне посоветуете?

– Я советую вам поступить так же, как поступлю я сам.

– А именно?

– Я ведь нахожусь в таком же положении, как и вы.

– Вы?

– Господин виконт ненавидит заниматься всякого рода мелочами; когда я поступил к нему на службу, у меня были кое-какие сбережения, вместе с отцовским наследством составила сумма в шестьдесят тысяч франков; я ведал расходами по дому, как вы ведали конюшней, и все эти годы господин виконт платил мне жалованье, даже не проглядывая счета; приблизительно в то же время что и вы, я обнаружил, что хозяин задолжал мне двадцать тысяч франков и тысяч шестьдесят мы остались должны поставщикам; и тогда господин виконт предложил мне, как он предложил вам, чтобы рассчитаться с долгами, приобрести у него всю обстановку особняка, включая столовое серебро, кстати, очень красивое, очень дорогие полотна разных живописцев и все остальное; оптом мы оценили имущество в сто сорок тысяч франков. Уплатить мне и поставщикам надо было восемьдесят тысяч франков, таким образом, оставалось еще шестьдесят тысяч, я обязался употребить их все до последнего сантима на стол, жалованье прислуге и прочие нужды, но больше ни на что; таково было условие заключенной нами сделки.

– Ибо на этих расходах вы кое-что зарабатывали.

– Разумеется, ибо я сговорился с поставщиками, что уплачу им деньги только после продажи имущества, – сказал Буайе, втягивая носом добрую понюшку табака. – Так что к концу этого месяца...

– Вся обстановка будет принадлежать вам, так же, как лошади и экипажи – мне.

– Конечно, господин виконт тоже не остался внакладе: он сохранил возможность продолжать все последнее время вести любезный его сердцу образ жизни... то есть жить как вельможа и одновременно оставить с носом своих кредиторов: ведь за обстановку, столовое серебро, лошадей, экипажи – за все было уплачено им наличными деньгами, когда он достиг совершеннолетия, а теперь все это стало нашей собственностью – вашей и моей.

– Стало быть, господин виконт будет разорен?

– Он сумел разориться всего за пять лет...

– А унаследовал господин виконт?..

– Жалкий миллион франков наличными деньгами, – ответил с явным пренебрежением г-н Буайе, беря очередную понюшку табака. – Прибавьте к этому миллиону примерно двести тысяч долгу, так что сумма получается подходящая... Все это я вам рассказываю, любезный мой Эдвардс, потому что я собирался сдавать внаем англичанам весь этот превосходно обставленный особняк, как он есть, с бельем, хрусталем, фарфором, столовым серебром, теплицей; думаю, что многие из ваших соотечественников согласились бы на весьма высокую плату.

– Еще бы! А почему вы раздумываете?

– Понимаете, вещи могут упасть в цене, такой риск существует! И потому я решил продать дом со всей обстановкой. Господин виконт слышет таким знатоком антикварной мебели и произведений искусства, что принадлежащее ему имущество пойдет чуть ли не по двойной цене: таким образом, я положу в карман кругленькую сумму! Поступайте как я, Эдвардс, продайте, продайте все и не вздумайте на вырученные деньги пускаться в биржевые спекуляции; вы ведь прославленный кучер виконта де Сен-Реми, вас всякий захочет заполучить к себе; кстати, как раз вчера мне говорили о хотя еще и несовершеннолетнем, но уже дееспособном кузене герцогини де Люсене: этот юный герцог Монбризон возвратился из Италии со своим наставником и намерен обустроить свой дом. У него добрых двести пятьдесят тысяч земельной ренты, любезный мой Эдвардс, слышите: двести пятьдесят тысяч годовой ренты... Вот с таким капитальцем он вступает в самостоятельную жизнь. Ему двадцать лет, он человек доверчивый и полный иллюзий, ему не терпится начать тратить деньги, он расточителен, как принц... Я знаком с его дворецким, могу сказать вам это по секрету, он даже предложил мне место главного камердинера; глупец, вздумал мне покровительствовать!

И г-н Буайе, пожав плечами, шумно втянул в нос очередную понюшку табака.

– Вы надеетесь его выжить оттуда?

– Черт побери! Он либо наглец, либо просто болван. Он хочет взять меня к себе, ибо полагает, что ему незачем меня бояться! Не пройдет и двух месяцев, как я займу его место.

– Двести пятьдесят тысяч ливров земельной ренты! – заметил раздумчиво Эдвардс. – И хозяин еще совсем молодой человек... Да, это место стоящее...

– Говорю вам, что там многое можно сделать. Я переговорю о вас со своим покровителем, – сказал г-н Буайе с нескрываемой иронией. – Поступайте туда на службу, ведь такое состояние, как у герцога, имеет крепкие корни, там можно надолго закрепиться. Это ведь не жалкий миллион господина виконта; такие деньги что снежный ком: под лучами парижского солнца он быстро тает – и всему конец! Я сразу же понял, что буду здесь, так сказать, перелетной птицей; и в общем-то жаль, потому что служить в нашем доме было почетно, и до последней минуты я буду служить господину виконту со всем уважением и почетом, какого он заслуживает.

– Любезный мой Буайе, право же, я вам весьма благодарен и принимаю ваше лестное предложение; но я вот о чем подумал: а не предложить ли мне молодому герцогу приобрести конюшню господина виконта? Она ведь в полном порядке, можно сказать, на ходу, ее знает и ею восхищается весь Париж.

– И то верно, вы можете совершить выгодное дельце.

– А почему бы и вам не предложить этот особняк, так прекрасно обставленный и украшенный? Где он лучше-то найдет?

– Черт побери, Эдвардс, я всегда знал, что вы человек умный, меня это не удивляет, но, признаюсь, вы мне подали превосходную мысль! Надо нам обратиться к господину виконту, он человек славный и не откажется замолвить за нас словечко перед молодым герцогом; он скажет ему, что, уезжая в Герольштейн в составе миссии, к которой он причислен, он хочет разом избавиться от своего дома и имущества. Послушайте: сто шестьдесят тысяч франков за прекрасно обставленный особняк, двадцать тысяч франков за столовое серебро и картины, пятьдесят тысяч франков за лошадей и экипажи, все это составит двести тридцать тысяч франков; по-моему, это замечательное предложение для богатого молодого человека, который желает обустроиться наилучшим образом; он потратит в три раза больше, чтобы приобрести столь элегантный, столь изысканный особняк со всеми службами! Потому что, надо признаться, Эдвардс, никто лучше господина виконта не знает толк в роскошной жизни.

– Какие у него лошади!

– А какая вкусная еда! Годфруа, его повар, уйдет отсюда в сотню раз более искусным, чем пришел: господин виконт давал ему превосходные советы, он наделил его такой утонченностью!

– Помимо всего прочего, говорят, что господин виконт замечательный игрок!

– Восхитительный!.. Он выигрывает огромные суммы с еще большей невозмутимостью, чем проигрывает... А между тем я никогда не видел человека, который проигрывал бы деньги с большей выдержкой.

– А женщины, Буайе, а женщины! Уж вы бы могли многое о них порассказать, ведь вы один-то и входи в покои, расположенные в первом этаже...

– У меня свои секреты, как и у вас, мой милый.

– У меня?

– Когда господин виконт играл на скачках, разве не было у вас при этом своих тайн? Я не хочу подвергать сомнению честность жокеев ваших противников... Однако ходили разные слухи...

– Тише, любезный мой Буайе: истинный джентльмен никогда не бросает тень на репутацию жокея своего противника, если тот, проявив слабость, прислушался к его посулам...

– Так же, как человек порядочный никогда не бросает тень на репутацию женщины, которая была особенно любезна с ним; а потому, повторяю, будем хранить свои тайны, вернее сказать, тайны господина виконта, мой дорогой Эдвардс.

– Да, кстати... а что он собирается делать сейчас?

– Он едет в Германию в хорошей дорожной карете, имея в кармане семь или восемь тысяч франков, которые ему удастся наскрести. О, я не тревожусь за судьбу господина виконта, он из тех людей, которые, как говорится, даже падая, всегда удерживаются на ногах...

– А он не ждет никакого наследства?

– Никакого, потому что его отец человек небогатый.

– Его отец?

– Вот именно...

– Разве отец господина виконта не умер?..

– Он был жив, во всяком случае, еще месяцев пять или шесть тому назад; господин виконт писал ему по поводу каких-то фамильных бумаг...

– Но он ведь тут никогда не появлялся?

– На то есть своя причина: вот уже пятнадцать лет, как отец господина виконта живет в провинции, в городе Анже.

– Но разве господин виконт не навещает его?

– Кого? Своего отца?

– Ну да.

– Никогда... никогда. Ни разу он к нему не ездил.

– Они что же, в ссоре?

– То, что я вам сейчас расскажу, – не тайна, я узнал обо всем от бывшего доверенного слуги князя де Нуармона.

– Отца госпожи де Люсене? – спросил Эдвардс, лукаво и многозначительно поглядев на собеседника; однако г-н Буайе, верный своей обычной сдержанности и корректности, сделал вид, что ничего не заметил, и холодно продолжал:

– Герцогиня де Люсене и в самом деле дочь князя де Нуармона; отец господина виконта был близким приятелем князя; герцогиня в ту пору была совсем еще юной девушкой, и граф де Сен-Реми очень ее любил, он обращался с ней так фамильярно, как будто она была его дочерью. Все эти подробности известны мне из рассказа Симона, доверенного слуги князя; я могу говорить обо всей этой истории не обинуясь, потому что история, которую я хочу вам поведать, была в свое время на устах у всего Парижа. Несмотря на то что отцу господина виконта уже шестьдесят лет, он человек железной воли, он храбр как лев, а его честность можно смело назвать легендарной: он не располагал почти что ничем, когда женился по любви на будущей матери господина виконта, довольно богатой молоденькой особе: она располагала миллионом франков, и мы с вами имели честь наблюдать, как эти деньги буквально растаяли на наших глазах.

При этих словах г-на Буайе поклонился.

Эдвардс последовал его примеру.

– Брак этот был поначалу весьма счастливым; но в один прекрасный день отец господина виконта, как говорили, совершенно случайно обнаружил эти окаянные письма, из которых явствовало, что во время одной из его отлучек – это произошло года через три или четыре после свадьбы – его супруга прониклась нежной страстью к какому-то польскому графу.

– С этими поляками такое часто случается. Когда я служил у маркиза де Сенваля, госпожа маркиза... дама неистовая...

Господин Буайе прервал своего собеседника.

– Любезный мой Эдвардс, вам надлежит знать об узах родства, связывающих знатные семейства, и лишь потом говорить; в противном случае вы можете попасть в весьма неловкое положение.

– Каким образом?

– Маркиза де Сенваль – сестра герцога де Монбризона, поступить на службу к которому вы желаете...

– Вот чертовщина!

– Судите сами, что произошло бы, если бы вы стали говорить о ней такие вещи в присутствии завистников или доносчиков: вы бы и суток не остались в доме герцога...

– Вы совершенно правы, Буайе... я постараюсь разузнать обо всех нужных фамильных связях...

– Я продолжаю... Итак, отец господина виконта обнаружил после двенадцати или пятнадцати лет счастливого брака, что жена изменила ему с польским графом. К несчастью либо, напротив, к счастью, господин виконт родился ровно через девять месяцев после того, как его отец... а точнее, граф де Сен-Реми возвратился домой после своей роковой отлучки, так что, несмотря на все весьма основательные предположения, он так и не мог окончательно увериться в том, что господин виконт – плод прелюбодеяния. Тем не менее граф немедленно разошелся с женой, не пожелал взять ни одного су из ее состояния, которое она принесла ему в приданое, и уехал жить в провинцию, располагая всего лишь восемьюдесятью тысячами франков; но послушайте дальше, и вы поймете всю злобность его дьявольского характера. Хотя оскорбление было нанесено ему за пятнадцать лет до того, как он об этом узнал, и срок давности вроде бы истек, отец господина виконта в сопровождении господина де Фермона, одного из его родичей, пустился на поиски поляка-соблазнителя и настиг его в Венеции после того, как почти полтора года разыскивал его чуть ли не во всех городах Европы.

– Каков упрямец!..

– Он злобен, как демон, говорю я вам, любезный мой Эдвардс... В Венеции и состоялся кровопролитный поединок, в ходе которого поляк был убит. Все произошло по всем правилам; однако отец господина виконта выказал, как говорят, такую свирепую радость, увидя, что поляк смертельно ранен, что его родичу, господину де Фермону, пришлось буквально силой увести его с места поединка, ибо граф, по его словам, хотел самолично убедиться в том, что его враг испустит дух у него на глазах.

– Что за человек! Что за человек!..

– После этого граф возвратился в Париж, отправился к своей бывшей жене и сообщил ей, что он только что убил ее поляка; затем он снова уехал к себе в провинцию. С тех пор он ни разу не видел ни ее, ни сына, он безвыездно жил в Анже, и живет он там, как говорят, точно суший бирюк на те средства, что еще сохранились у него от тех восьмидесяти тысяч франков, значительную часть из которых он, сами понимаете, поистратил, гоняясь за пресловутым поляком. В Анже он ни с кем не видится, кроме жены и дочери его родственника де Фермона, который умер несколько лет назад. Вообще-то семья де Фермонов – злосчастная семья, ибо брат госпожи де Фермон, по слухам, несколько месяцев тому назад пустил себе пулю в лоб.

– А что с матерью господина виконта?

– Он потерял ее уже давно. Вот почему господин виконт, достигнув совершеннолетия, получил в свое распоряжение состояние матери... Но ведь вы сами убедились, дражайший Эдвардс, что, промотав это наследство, господин виконт ни на какое другое рассчитывать не может. Вряд ли что-нибудь ему достанется от отца...

– Который, помимо всего прочего, его, как видно, терпеть не может.

– Он ни разу не пожелал с ним свидеться после сделанного им оскорбительного открытия, тем более что он, без сомнения, убежден, что господин виконт – сын поляка.

Беседа этих почтенных людей была прервана появлением выездного лакея гигантского роста: он был в тщательно напудренном парике, хотя было всего одиннадцать часов утра.

– Господин Буайе, – сказал великан, – господин виконт уже дважды звонил в колокольчик.

Буайе был, видимо, расстроен тем, что он пренебрег своими обязанностями, он поспешно поднялся с места и последовал за слугою с такой торопливостью и с таким подчеркнутым почтением, словно не он был настоящим владельцем особняка своего хозяина.

Глава VII

Граф де Сен-Реми

Прошло часа два после того, как Буайе, расставшись с Эдвардсом, вернулся, чтобы выслушать распоряжения виконта де Сен-Реми, когда отец виконта постучал в двери особняка на улице Шайо.

Граф де Сен-Реми был человек высокого роста, еще очень подвижный и крепкий, несмотря на свои годы; его загорелое смуглое лицо резко контрастировало с белоснежной бородою и волосами; густые черные брови почти прикрывали пронизательные, глубоко посаженные глаза. Мизантроп по натуре, он словно из какого-то вызова носил потрепанное платье, однако весь его облик говорил о внутреннем достоинстве и горделивом спокойствии, и это внушало уважение к нему.

Двери в дом его сына растворились, и граф вошел.

Швейцар в пышной коричневой ливрее, шитой серебром, со старательно напудренным париком, в шелковых чулках, показался на пороге своей хорошо обставленной швейцарской, которая не больше походила на закопченное логово четы Пипле, чем модная бельевая лавка походит на каморку бедной портнихи.

– Господин де Сен-Реми у себя? – отрывисто спросил граф.

Швейцар вместо ответа с презрительным удивлением посмотрел на белую бороду, поношенный сюртук и выдавшую виды шляпу незнакомца, стоявшего перед ним с тяжелой дубинкой в руке.

– Господин де Сен-Реми у себя? – нетерпеливо повторил свой вопрос граф, возмущенный наглым поведением лакея.

– Господина виконта нет дома.

Процедив эти слова, собрат г-на Пипле собрался уже захлопнуть дверь и недвусмысленным жестом предложил незнакомцу уйти.

– Я подожду, – ответил граф.

И шагнул вперед.

– Эй, приятель! Приятель! Так не входят в благородный дом! – крикнул швейцар, кинувшись за графом и схватив его за руку.

– Как, негодяй! – вскричал старик, с угрожающим видом поднимая свою дубинку. – Ты смеешь прикасаться ко мне!..

– Я осмелюсь и на большее, если вы тотчас же не удалитесь. Я ведь сказал вам, что господина виконта нет дома, а потому убирайтесь вон.

В эту минуту Буайе, привлеченный громкими голосами, показался на крыльце дома.

– Что здесь за шум? – осведомился он.

– Господин Буайе, этот человек хочет непременно войти, хотя я сказал ему, что господина виконта дома нет.

– Хватит! – резко сказал граф, обращаясь к Буайе, подошедшему ближе. – Я хочу видеть своего сына... Если его нет, я подожду...

Мы уже говорили, что Буайе знал о том, что у его хозяина есть отец, известный своей нелюдимостью: будучи к тому же недурным физиономистом, Буайе ни на мгновение не усомнился в том, что перед ним граф де Сен-Реми; он склонился в почтительном поклоне и сказал:

– Если господин граф соблаговолит за мною последовать, то я весь к его услугам...

– Ступайте вперед, – проговорил граф де Сен-Реми и последовал за Буайе, повергнув в глубокое изумление швейцара.



Швейцар с презрительным удивлением посмотрел на белую бороду, поношенный стюртук и выдающую виды шляпу незнакомца, стоявшего перед ним с тяжелой дубинкой в руке.

Следуя по пятам за камердинером, граф поднялся на второй этаж, здесь он вместе со своим провожатым прошел через рабочий кабинет Флорестана де Сен-Реми (отныне мы будем называть виконта по имени, чтобы читатель не спутал его с отцом), и тот наконец ввел графа

в находившуюся по соседству небольшую гостиную: она располагалась прямо над будуаром, помещавшимся на первом этаже.

– Господину виконту пришлось отлучиться сегодня утром, – сказал Буайе, – если господин граф возьмет на себя труд подождать его, то я думаю, что он скоро возвратится.

С этими словами камердинер вышел из комнаты.

Оставшись один, граф равнодушным взглядом обвел гостиную; но внезапно он вздрогнул, щеки у него побагровели, на лице отразилось сильное волнение, а черты его лица исказились от гнева.

Он увидел портрет своей бывшей жены... матери Флорестана де Сен-Реми.

Старик скрестил руки на груди, опустил голову, словно желая прогнать это видение, и быстро зашагал из угла в угол.

– Как странно! – вырвалось у него. – Эта женщина уже давно умерла; я убил ее любовника, а моя рана все так же болит, все так же мучительна, как в первый день... Как видно, жажда мести все еще не угасла во мне, моя угрюмая нелюдность, из-за которой я живу одиноко, вдали от мира, все еще не излечила мою душу от нанесенного мне оскорбления. Да, смерть сообщника этой недостойной женщины смыла мой позор в глазах общества, но не изгладила его из моей памяти.

«О! Я чувствую, что моя ненависть не проходит потому, что я все время думаю: меня обманывали целых пятнадцать лет! Целых пятнадцать лет я окружал почетом и уважением ничтожную женщину, которая самым низким образом обманула меня. Все те годы я любил ее сына, сына, рожденного ею в грехе, так, как будто он был моим собственным ребенком... ибо отвращение, которое мне ныне внушает этот Флорестан, со всей очевидностью подтверждает что он – плод супружеской измены!

И тем не менее у меня нет полной уверенности в том, что он – дитя незаконной страсти; вполне возможно, что он все-таки мой сын... и порою эта возможность нестерпимо терзает меня.

Ну а если бы он оказался моим сыном?! Тогда то, что я его совершенно покинул, та отчужденность, которую я неизменно выказывал к нему, мой отказ видаться с ним – все это просто непростительно. Впрочем, он богат, молод, счастлив; чем я мог быть ему полезен?... Да, но его сыновья нежность могла бы, возможно, смягчить горе, причиненное мне его матерью!»

Таковы были мысли графа. После короткого раздумья он пожал плечами и произнес вслух:

– К чему эти бессмысленные и безрассудные предположения?! Они только вновь берегут мои раны, но ни к чему не ведут! Надо быть мужчиной и преодолеть нелепое и мучительное волнение, которое я испытываю при мысли, что я вот-вот вновь увижу того, кого целых десять лет я любил, кого я просто боготворил, кого я обожал как сына, моего сына! Да, я вновь увижу его, его, отпрыска того человека, которого я с нескрываемой радостью поверг на землю своею шпагой, того человека, чья кровь текла потоком, наполняя меня радостью!.. А они помешали мне насладиться его агонией, видом его смерти!.. О! Откуда им было знать, что это значит – быть раненным так жестоко, как был ранен я!.. А ко всему еще – думать, что мое имя, навсегда окруженное почетом и уважением, затем столь часто произносили с наглой усмешкой... как произносят имя обманутого мужа!.. Думать, что мое имя... имя, которым я всю жизнь так гордился, ныне носит сын того человека, у которого я готов был вырвать сердце... О! Я и сам не понимаю, как это я не схожу с ума при одной этой мысли!

И граф де Сен-Реми, продолжая в волнении шагать по комнате, машинально приподнял портьеру, которая отделяла гостиную от рабочего кабинета Флорестана, и прошелся по кабинету.

Через какую-нибудь минуту после того, как он вышел из гостиной, небольшая дверь, искусно скрытая обоями, тихонько отворилась, и г-жа де Люсене, закутанная в большую шаль

из зеленого кашемира, в простенькой шляпке черного бархата вошла в гостиную, которую только что покинул граф.

Поясним причины столь неожиданного появления герцогини.

Накануне Флорестан де Сен-Реми назначил на следующее утро свидание герцогине. Она, как мы уже сказали, получила от него в свое время ключ от маленькой калитки, выходившей в переулочек, и потому, как обычно, прошла через теплицу, рассчитывая найти Флорестана в его покоях на нижнем этаже. Не найдя его там, герцогиня решила (так уже не раз бывало), что виконт пишет какое-нибудь письмо у себя в кабинете... Потайная лестница вела из будуара на второй этаж. Г-жа де Люсене безбоязненно поднялась по ней, полагая, что г-н де Сен-Реми запретил, как он всегда поступал в таких случаях, кого бы то ни было принимать.

На беду, угрожающий визит г-на Бадино вынудил Флорестана поспешно уйти из дому, и он совсем позабыл о свидании, которое назначил г-же де Люсене.

Не видя никого, герцогиня уже собиралась переступить порог кабинета, как вдруг портьера, отделявшая кабинет от гостиной, заколебалась и герцогиня оказалась лицом к лицу с отцом Флорестана.

Она не смогла сдержать испуганного возгласа.

– Клотильда! – воскликнул ошеломленный граф.

Близкий друг князя де Нуармона, отца г-жи де Люсене, граф де Сен-Реми знал ее совсем юной девушкой и даже еще ребенком, вот почему он в былые времена запросто называл ее по имени.

Герцогиня застыла как изваяние, с изумлением глядя на белобородого и дурно одетого старика, чьи черты были, однако, ей смутно знакомы.

– Вы, Клотильда! – повторил граф с горьким упреком. – Вы... здесь, у моего сына!

Эти последние слова воскресили неясные воспоминания г-жи де Люсене: она узнала наконец отца Флорестана и воскликнула:

– Господин де Сен-Реми!

Положение было столь ясное и недвусмысленное, что герцогиня, чей решительный и вместе с тем эксцентричный нрав хорошо известен читателю, пренебрегла возможностью прибегнуть ко лжи, чтобы объяснить графу, почему она оказалась в покоях Флорестана; рассчитывая на почти отеческую привязанность, которую тот некогда к ней испытывал, она протянула ему руку и сказала тем ласковым, сердечным и одновременно дерзким тоном, который был присущ только ей одной:

– Знаете что... не браните меня... ведь вы мой самый старинный друг; вспомните, ведь лет двадцать назад вы называли меня своей милой Клотильдой...

– Да... именно так я вас и называл... но...

– Я уже заранее знаю все, что вы мне хотите сказать, однако вам известен мой девиз: «То, что есть, – есть... А чему быть, того не миновать!...»

– Ах, Клотильда!.. Клотильда!..

– Избавьте меня от ваших упреков, лучше позвольте мне сказать о той радости, какую я испытываю, вновь свидясь с вами; ведь ваше присутствие напоминает мне о стольких вещах... мой бедный отец... мои навсегда ушедшие пятнадцать лет... Ах! Какое это счастье, когда тебе всего пятнадцать лет!

– Именно потому, что ваш отец был мне другом, я...

– О да, – подхватила герцогиня, прерывая г-на де Сен-Реми, – он вас так любил! Помните, он назвал вас, смеясь, «человеком прямых путей»... Вы вечно повторяли ему: «Вы слишком балуете Клотильду... будьте осторожны», а он, обнимая меня, отвечал вам: «Я и сам знаю, что балую ее, и мне надобно торопиться баловать ее еще больше, ибо очень скоро свет похитит ее у меня, чтобы баловать в свой черед». Он был так добр и так хорош, мой отец! Господи, какого друга я потеряла в его лице!.. – В прекрасных глазах герцогини де Люсене блеснула слеза;

затем, вновь протянув руку графу де Сен-Реми, она произнесла взволнованным голосом: – Нет, правда, я счастлива, я так счастлива опять увидеть вас; вы пробудили столько воспоминаний, таких дорогих, таких милых моему сердцу!..

И г-н де Сен-Реми, хотя он давно и хорошо знал ее своеобразный и решительный нрав, был смущен той непринужденной легкостью, с какой Клотильда отнеслась к щепетильному положению, в котором она оказалась; легко сказать: встретить в доме своего любовника его отца!

– Если вы в Париже уже не первый день, – продолжала г-жа де Люсене, – как нехорошо, что вы даже не пришли повидать меня сразу; ведь так приятно было бы поговорить о прошлом... ибо, признаюсь, я уже приближаюсь к тому возрасту, когда так радостно сказать старому другу: «А помните, как...»

Положительно, герцогиня не говорила бы с более невозмутимой беспечностью, если бы граф пришел к ней с утренним визитом в особняк герцога де Люсене!

И все-таки г-н де Сен-Реми не удержался и строго произнес:

– Вместо того чтобы беседовать о прошлом, нам было бы уместнее потолковать о настоящем... ведь мой сын может вернуться с минуты на минуту... и...

– Нет, – возразила Клотильда, прерывая графа, – не бойтесь, у меня есть ключ от калиточки в теплице, а к тому же о приходе виконта всегда предупреждают, позвонив в колокольчик, как только он приближается к калитке, выходящей на улицу; услышав колокольчик, я тут же исчезну столь же таинственно, как и появилась, и не помешаю вашей радости от свидания с Флорестаном. Какой сладостный сюрприз вы ему готовите... ведь вы так давно совсем покинули его!.. Кстати, это я, скорее, могла бы во многом вас упрекнуть.

– Упрекнуть меня?.. Но в чем?..

– Конечно, могла бы... Какого наставника, какую нравственную опору имел он, вступая в свет? А ведь множество практических дел требуют советов отца... Так что, говоря откровенно, совсем начистоту, очень дурно, что вы...

И тут герцогиня де Люсене, уступая своему причудливому нраву, невольно остановилась и, громко рассмеявшись, сказала графу:

– Вы должны признать, что положение складывается по меньшей мере странное, весьма пикантно, что не вы мне, а я вам читаю наставления!

– Это и в самом деле странно; но я не заслуживаю ни ваших похвал, ни ваших укоров, я пришел к сыну... но пришел сюда не ради него... Он в таком возрасте, когда уже не нуждается в моих советах.

– Что вы хотите этим сказать?

– Вы должны знать, по каким причинам я ненавижу свет, а особенно столичный свет, – сказал граф, и в голосе его прозвучали мучительные и напряженные интонации. – Вот почему должны были возникнуть особые обстоятельства, обстоятельства, чрезвычайно важные для того, чтобы я уехал из Анже, а главное, пришел в этот дом... Но я был вынужден преодолеть свое отвращение и повидать всех тех, кто мог бы мне помочь или дать полезный совет в том деле, которое необыкновенно важно для меня.

– О, в таком случае, – воскликнула г-жа де Люсене с трогательной горячностью, – прошу вас, полностью располагайте мной, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезна! Нужно ли за кого-нибудь походатайствовать? Господин де Люсене пользуется немалым влиянием, ибо в те дни, когда я езжу обедать к моей двоюродной бабушке госпоже де Монбризон, он принимает в нашем доме и кормит обедом многих депутатов; такие вещи без важных резонов не делаются: связанные с этим хлопоты и неудобства должны ведь приносить хоть какую-нибудь пользу... я бы сказала так: приобретаешь известное влияние на тех людей, которые ныне сами пользуются влиянием. Повторяю еще раз: если мы можем чем-нибудь вам услужить, располагайте нами целиком и полностью. Кстати, у меня есть еще юный кузен, молодой герцог де Монбризон, он

– пэр Франции и связан со всеми пэрами, его сверстниками. Возможно, и он что-либо сможет сделать. В таком случае надейтесь и на него, я вам ручаюсь. Словом, повторяю, располагайте и мною, и всеми моими родными, а вы ведь знаете, что я – настоящий и преданный друг!

– Да, я это знаю... и не отказываюсь от вашей поддержки, хотя...

– Послушайте, мой милый Альцест, ведь все мы принадлежим к светскому обществу, так будем же вести себя как светские люди; здесь ли мы находимся или находились бы в другом месте, какое это имеет значение, я думаю, что это не относится к тому делу, которое вас занимает, а теперь оно сильно занимает и меня, поскольку оно касается вас. Поговорим же о нем, и поговорим основательно... я на этом настаиваю...

С этими словами герцогиня подошла к камину, оперлась на него и протянула поближе к огню самую прелестную ножку на свете, которая у нее, видимо, озябла.

С удивительным тактом герцогиня де Люсене воспользовалась представившимся случаем, чтобы больше не говорить о виконте и побудить графа де Сен-Реми поделиться с нею тем, чему он явно придавал столь важное значение...

Клотильда вела бы себя совершенно по-иному в присутствии матери Флорестана: тогда бы она с радостью и гордостью долго рассказывала бы своей собеседнице, как ей, Клотильде, дорог сын графини.

Несмотря на весь свой ригоризм и суровость, граф де Сен-Реми невольно поддался влиянию этой, если так можно выразиться, дерзкой прелести молодой женщины, которую он хорошо знал и любил, когда она была совсем еще девочкой, и он почти совсем забыл, что беседует с любовницей своего сына.

Как, впрочем, не заразиться поучительным примером поведения человека, попавшего в крайне неловкое положение, но, казалось, не придающего или не желающего придавать значения трудности тех обстоятельств, в которых он оказался?

– Возможно, вам неизвестно, Клотильда, – сказал граф, – что уже очень давно я постоянно живу в Анже?

– Нет, я это знаю.

– Несмотря на то, что я искал полнейшего уединения, я все-таки выбрал именно этот город, потому что там проживал один мой родственник, господин де Фермон; после постигшего меня ужасного несчастья он вел себя по отношению ко мне как брат. Он сопровождал меня в поездках по всем городам Европы, где я рассчитывал настичь того человека, которого жаждал убить, он был даже моим секундантом во время дуэли...



С этими словами герцогиня подошла к камину, оперлась на него и протянула поближе к огню самую прелестную ножку на свете, которая у нее, видимо, озябла.

— Да, и дуэли жестокой; отец в свое время мне подробно все рассказал, — с грустью откликнулась г-жа де Люсене. — Но, к счастью, Флорестан ничего не знает об этом поединке... и о причинах, что привели к нему...

— Мне не хотелось, чтобы он перестал уважать свою мать, — ответил граф, подавляя невольный вздох... Потом он продолжал свой рассказ: — Несколько лет тому назад господин де Фермон скончался в Анже, он умер у меня на руках, оставив жену и дочь; несмотря на мой угрюмый и нелюдимый нрав, я не могу не любить их, потому что нигде на свете вы не встретите более благородных и прекрасных созданий. Я жил один в отдаленном городском предместье; но, когда приступы моей черной меланхолии на время отпускали меня, я посещал госпожу де

Фермон и ее дочь, и мы беседовали, вспоминая того, кого безвозвратно потеряли. Как и при его жизни, я вновь обретал и укреплял душевное равновесие в мирном общении с этой семьей, которой я уже давно отдал всю ту привязанность, на какую еще был способен. Брат госпожи де Фермон жил в Париже; он взял на себя заботу о делах и об имуществе сестры после кончины ее мужа и поместил у какого-то нотариуса сто тысяч экю – все состояние вдовы. Через некоторое время на госпожу де Фермон обрушилась новая ужасная беда: ее брат, господин де Ренвиль, наложил на себя руки: случилось это приблизительно восемь месяцев тому назад. Я как только мог утешал ее. Едва оправившись от горя, она уехала в Париж, с тем чтобы привести в порядок свои денежные дела. Через некоторое время я узнал, что по ее просьбе распродали скромную обстановку того дома, который она нанимала в Анже, и вырученную сумму употребили на уплату оставшихся после ее отъезда долгов. Встревоженный всем этим, я навожу справки и узнаю, что, по неясным слухам, эта несчастная женщина и ее дочь живут в крайней нужде, ибо они оказались, без сомнения, жертвами какого-то банкротства. Если госпожа де Фермон и могла на кого-то рассчитывать в столь крайних обстоятельствах, то лишь на меня... однако я не получил от нее ни малейшей весточки. Только утратив связи с этой близкой и милой моему сердцу семьей, я по-настоящему оценил, как они важны и дороги для меня. Вы не можете себе представить все те страдания, все те тревоги, какие терзали меня после отъезда госпожи де Фермон и ее дочери. Ведь муж одной и отец другой был для меня как брат... так что мне необходимо было во что бы то ни стало разыскать обеих женщин, понять, почему, совершенно разорившись, они не обратились ко мне за помощью, даже зная, что я небогат; вот я и приехал в Париж, поручив в Анже одному человеку поставить меня в известность, если он по случайности узнает что-либо новое о несчастных.

– И что же?

– Как раз вчера я получил письмо из Анже... нового ничего нет. Приехав в столицу, я начал поиски... прежде всего я отправился в тот дом, где прежде жил брат госпожи де Фермон. Там мне сказали, что они проживают на набережной канала Сен-Мартен.

– А что вы узнали по этому адресу?

– Что они там некоторое время действительно жили, но потом съехали, а куда – неизвестно. К сожалению, до сих пор все мои попытки найти их оказались тщетными. После долгих, но бесплодных поисков, не желая вовсе потерять надежду, я и решил прийти сюда: быть может, госпожа де Фермон, которая по непонятным причинам не обратилась ко мне ни за помощью, ни за поддержкой, решила прибегнуть к помощи моего сына, сына лучшего друга ее покойного мужа. Без сомнения, эта последняя надежда была почти ни на чем не основана... но я не хотел ничем пренебречь, стремясь отыскать эту бедную женщину и ее дочь.

– По правде говоря, было бы весьма странно, если бы речь шла о тех же самых особах... к которым проявила интерес и участие госпожа д'Арвиль...

– О каких особах вы говорите? – осведомился граф.

– Скажите, вдова, о которой вы рассказывали, еще молода, не правда ли? И у нее очень благородное лицо?

– Разумеется; но что вы о ней знаете?

– А ее дочери, которая мила, как ангел, всего лет шестнадцать?

– Да... да...

– И зовут ее Клэр?

– О, пощадите! Скажите мне, где они?

– Увы! Этого-то я не знаю.

– Не знаете?

– Вот как все произошло... Одна дама моего круга, госпожа д'Арвиль, приехала ко мне и спросила, не знаю ли я некой вдовы, у которой есть дочь Клэр; брат этой вдовы недавно покончил с собой. Госпожа д'Арвиль обратилась ко мне потому, что ей на глаза попала записка со

словами: «Написать госпоже де Люсене». Собственно, это была даже не записка, слова эти она прочла в конце чернового наброска письма, которое эта несчастная женщина послала неизвестной нам особе, прося о помощи.

– Она хотела написать вам... но почему именно вам?

– Сама не знаю... Я ведь с нею незнакома.

– Но она-то, она-то вас знала! – воскликнул граф де Сен-Реми, которому в голову пришла неожиданная мысль.

– Почему вы так думаете?

– Сотни раз она слышала, как я рассказывал о вашем отце, о вас, о вашем прекрасном и великодушном сердце. И, погибая от нужды, она решила прибегнуть к вам.

– И в самом деле, это можно объяснить и так...

– Ну а госпожа д'Арвиль... как мог попасть к ней в руки черновик того письма?

– И этого я не знаю; все, что мне известно, – это то, что, не имея точных сведений о том, где находятся несчастная мать и ее дочь, госпожа д'Арвиль, я полагаю, нашла на их след.

– В таком случае я надеюсь на вас, Клотильда: познакомьте меня с госпожой д'Арвиль, я должен увидеть ее уже сегодня.

– Невозможно! Ее муж недавно стал жертвой ужасного случая: он вертел в руках пистолет, думая, что тот не заряжен; неожиданно раздался выстрел, и несчастный был убит на месте.

– Ах! Это ужасно!

– Маркиза тотчас же уехала из Парижа, она решила провести первое время траура у своего отца, в Нормандии.

– Клотильда, заклинаю вас, напишите ей сегодня же, расспросите ее обо всем, что она знает; коль скоро она прониклась сочувствием к этим бедным женщинам, скажите ей, что в моем лице она обретет самого ревностного помощника; мое единственное желание – поскорее разыскать вдову моего друга, я хочу разделить с нею и с ее дочерью те небольшие средства, которыми я еще располагаю. Отныне они – моя единственная семья.

– А вы все тот же, как всегда, преданный и великодушный! Можете смело положиться на меня, я сегодня же напишу госпоже д'Арвиль. А куда мне адресовать вам письмо?

– В Аньер, до востребования.

– Снова ваши причуды! Отчего вы остановились там, а не в Париже?

– Я ненавижу Париж из-за тех воспоминаний, которые с ним связаны, – отвечал г-н Сен-Реми с сумрачным видом. – Мой старый врач, господин Гриффон, с которым у меня сохранились добрые отношения, владеет небольшим загородным домом на берегу Сены, возле Аньера; зимой он там не живет и предложил мне там обосноваться; это, собственно говоря, одно из столичных предместий; я бы мог, набегавшись за день в поисках моих пропавших друзей, возвращаться туда вечером и быть в полном одиночестве, что мне по душе... Вот я и принял его предложение.

– Стало быть, я напишу вам в Аньер; кстати, я уже сейчас могу сказать вам одну вещь, которая, быть может, сослужит вам службу... ее сообщила мне госпожа д'Арвиль... Причина разорения госпожи де Фермон – мошеннические проделки некоего нотариуса, у которого хранилось все состояние вашей родственницы... Этот человек отрицает, что эти деньги были переданы ему на хранение.

– Вот негодяй!.. А как его зовут?

– Господин Жак Ферран, – ответила герцогиня, давась от смеха.

– До чего же вы странное существо, Клотильда! Ведь речь идет не просто о серьезных, а весьма печальных событиях, а вы смеетесь! – с удивлением и досадой воскликнул граф.

И в самом деле, г-жа де Люсене, вспомнив о любовном признании нотариуса, не могла удержаться от взрыва веселости.

– Простите меня, друг мой, – проговорила она, – дело в том, что этот нотариус – человек весьма своеобразный... и о нем рассказывают такие смешные истории... Но, говоря серьезно, если репутация порядочного человека, которой он пользуется, заслужена им не больше, чем репутация человека благочестивого... (а я заявляю, что он ею пользуется не по праву), то наш нотариус просто проходимец, каких мало!

– Где он живет?

– На улице Сантье.

– Я нанесу ему визит... То, что вы мне о нем сказали, подтверждает некоторые мои сомнения.

– Какие сомнения?

– Подробно разузнав об обстоятельствах смерти брата бедной моей приятельницы, я был почти что склонен поверить, что этот несчастный человек не наложил на себя руки, он погиб от руки убийцы.

– Великий боже! А что заставило вас предположить, что совершено преступление?

– Тут есть много резонов, но сейчас было бы слишком долго рассказывать вам о них; я прощаюсь с вами... Не забывайте же о том, что вы предложили мне помощь от своего имени и от имени господина де Люсене...

– Как?! Вы уходите... даже не повидав Флорестана?

– Встреча с ним была бы для меня очень мучительна, вы сами должны это понять... Я решился на нее единственно из надежды что-либо узнать от него о госпоже де Фермон: мне не хотелось пренебречь ни одной самой малой возможностью разыскать ее; а теперь прощайте...

– Боже! Вы просто безжалостны!

– Разве вы этого не знали?..

– Я знаю другое: никогда еще ваш сын так не нуждался в ваших советах...

– Это еще почему? Разве он не богат, разве он не счастлив?..

– Да, он богат и счастлив, но он совершенно не разбирается в людях! Он безумно расточителен, потому что доверчив и великодушен, он всегда, везде и во всем ведет себя как вельможа, и я боюсь, что его добротой злоупотребляют. Если бы вы только знали, какое у него благородное сердце! Я ни разу не отваживалась отчитывать его за непомерные траты и безалаберность, прежде всего потому, что я и сама не менее сумасбродна, а потом... по разным другим причинам; но вы, напротив, вы могли бы...

Госпожа де Люсене не успела закончить фразу.

Внезапно послышался голос Флорестана де Сен-Реми.

Он поспешно вошел в кабинет, примыкавший к гостиной; резким движением запер за собою дверь и произнес с тревогой в голосе, обращаясь к человеку, вошедшему вместе с ним:

– Но это просто немыслимо!..

– Повторяю вам, – раздался в ответ ясный и пронзительный голос г-на Бадино, – повторяю вам, что если вы не поторопитесь, то в четыре часа дня вас арестуют... Ибо ежели до этого времени наш приятель не получит деньги, он подаст жалобу в канцелярию прокурора, а вы ведь знаете, что такого рода подлог ведет... прямо на каторгу... мой милый виконт!..

Глава VIII

Трудный разговор

Невозможно описать взгляд, которым обменялись г-жа де Люсене и отец Флорестана, услышав эти грозные слова: «...ведет... прямо на каторгу!» Граф побледнел как полотно; он оперся о спинку стула, ноги у него подкосились.

Его имя, окруженное почетом благородное имя... опозорено ныне человеком, которого он всегда считал плодом супружеской измены!

Когда первые минуты оцепенения прошли, пылавшее гневом лицо старика, угрожающий вид, с которым он направился к двери кабинета, выражали столь ужасную и непоколебимую решимость, что герцогиня де Люсене схватила его за руку и тихим голосом, в котором слышалась глубокая убежденность, сказала:

– Он не виновен... клянусь вам!.. Молчите и слушайте дальше...

Граф остановился. Ему так хотелось поверить тому, что говорила герцогиня!

Она же и в самом деле была уверена в честности Флорестана.

Для того чтобы спокойно принимать все новые и новые жертвы этой женщины, столь безрассудно щедрой и великодушной, жертвы, которые одни только и могли уберечь его от ареста и преследований Жака Феррана, виконт убедил г-жу де Люсене в том, что он был обманут каким-то негодяем, всучившим ему в уплату фальшивый вексель, и теперь его, виконта, могли заподозрить в сообщничестве с этим мошенником, ибо он пустил этот вексель в оборот.

Герцогиня де Люсене знала: Флорестан неосторожен, расточителен, безалаберен; но она никогда, ни на одну минуту не считала, что он способен не только на низкий или подлый поступок, но даже на малейшее проявление нечистоплотности или непорядочности.

Дважды давая ему займы крупные суммы денег, когда он попадал в весьма затруднительное положение, она хотела оказать ему дружескую помощь, и виконт ни разу не брал у нее денег без обещания вскоре же возвратить их, ибо, по его словам, ему самому были должны вдвое большие суммы.

Внешняя роскошь жизни, которую он вел, позволяла этому верить. К тому же г-жа де Люсене, уступая порыву своей природной доброты, думала только о том, чтобы быть полезной Флорестану, в его словах она ни разу не усомнилась; разве мог бы он в противном случае брать в долг такие большие деньги?! Ручаясь за честность Флорестана, умоляя старого графа дослушать до конца беседу его сына с незнакомцем, герцогиня полагала, что речь может идти о том, что доверчивостью виконта злоупотребили и что он сможет полностью оправдать себя перед отцом.

– Повторяю еще раз, – продолжал Флорестан изменившимся голосом, – этот Пти-Жан просто подлец! Он уверил меня, что у него нет больше векселей, помимо тех, что я получил из его рук частью вчера и частью три дня назад... Я полагал, что этот чертов вексель пущен в оборот, что по нему придется платить месяца через три, в Лондоне, в банке «Адамс и Компания».

– Да, да, – снова послышался пронзительный голос Бадино, – я знаю, милейший виконт, что вы весьма ловко обстряпали это дельце; ваш подлог должен был обнаружиться тогда, когда вы были бы уже далеко отсюда... Но вы вознамерились провести человека более умелого, чем вы.

– Эх! Нашли время, когда поучать меня, жалкий вы человек!.. – в ярости закричал Флорестан. – Ведь вы же сами свели меня с тем субъектом, который всучил мне эти векселя!

– Вот что, дражайший мой аристократ, – холодно ответил Бадино, – поспокойнее!.. Вы ловко подделываете подписи на коммерческих бумагах, и это чудесно, но это не резон обращаться с вашими друзьями со столь неприятной фамильярностью. Если вы еще позволите себе такой тон... я уйду – и выпутывайтесь из этой истории как знаете...

– А вы полагаете, что можно сохранить хладнокровие в моем положении?.. Если то, что вы мне говорите, правда, если он подаст сегодня жалобу в канцелярию прокурора, я пропал...

– Так я ведь именно об этом вам и толкую, разве что... вы снова прибегнете к помощи вашего очаровательного провидения с голубыми глазами...

– Это невозможно...

– Ну, тогда делать нечего, покоритесь судьбе. Разумеется, это досадно, ведь вексель-то последний... из-за каких-то жалких двадцати пяти тысяч франков... отправиться дышать южным воздухом... в Тулон... Это не то что неловко, а просто глупо, бессмысленно! И как только столь умелый человек, как вы, дал загнать себя в тупик?

– Господи, что же делать? Что делать?.. Ведь все, что вы видите тут, мне больше не принадлежит, у меня нет даже двадцати луидоров.

– Ну а ваши друзья?

– Эх! Я уже должен всем, у кого можно было взять в долг; вы что, считаете меня таким глупцом, который ждал бы до сегодняшнего дня и не обратился бы к ним?

– Это верно, прошу прощения... Погодите, давайте потолкуем спокойно, это лучший способ прийти к разумному решению. Только что я хотел объяснить вам, как вас обошел еще больший ловкач, чем вы. Но вы не захотели меня выслушать.

– Ладно, говорите, если это чему-нибудь путному послужит.

– Подведем некоторые итоги; месяца два назад вы мне сказали: «У меня есть на сто тридцать тысяч франков векселей, все они долгосрочные и из разных банков; любезный Бадино, отыщите средство пустить их в оборот...»

– Ладно!.. Говорите дальше!..

– Не торопите меня... Я попросил у вас разрешения посмотреть эти векселя... И вот не знаю уж, какое смутное чувство подсказало мне, что все эти векселя фальшивые, хотя подделаны они мастерски. Признаюсь, я никогда не подозревал, что вы обладаете столь явным каллиграфическим талантом; однако, занимаясь судьбой вашего состояния с тех пор, как вы лишились всякого состояния, я знал, что вы совершенно разорены. Ведь через мои руки прошел акт, по которому ваши лошади, экипажи, обстановка особняка принадлежали отныне Буайе и Эдвардсу... Так что с моей стороны не было нескромным весьма удивиться, увидев, что вы обладаете коммерческими векселями на столь внушительную сумму. Ведь так?

– Избавьте меня от рассказа о своем удивлении и переходите к делу...

– Извольте... У меня достаточно опыта или осторожности... чтоб никогда прямо не вмешиваться в дела подобного сорта; а посему я вас направил к третьему человеку, и он, будучи не менее проницателен, чем я, сразу же заподозрил, что вы хотите сыграть с ним дурную шутку.

– Быть этого не может: если бы он считал эти векселя подложными, он бы не стал их учитывать.

– Сколько он вам отсчитал наличными за эти векселя на сто тридцать тысяч франков?

– Наличными я получил двадцать пять тысяч франков, а на остальную сумму он выдал мне другие векселя...

– И много ли вы получили по ним денег?..

– Ни гроша, вы ведь сами знаете: векселя-то оказались дутые... но ведь двадцатью пятью тысячами он все-таки рискнул!

– До чего вы еще молоды, милейший виконт! Вы обещали мне сто луидоров комиссионных, и я, разумеется, поостерегся сообщить этому третьему лицу об истинном состоянии ваших дел... Он предполагал, что вы еще человек с деньгами, к тому же он знал, что вас боготворит знатная дама, очень богатая, которая никогда не покинет вас в трудную минуту; так что он почти уверен, что уж свои денежки он всегда вернет, хотя бы мировой сделкой; конечно, он рисковал, без сомнения, остаться в убытке, но зато он рассчитывал и много заработать, и его расчет оказался верным; ибо третьего дня вы как миленький отсчитали ему сто тысяч фран-

ков, чтобы выкупить фальшивый вексель на пятьдесят восемь тысяч, а вчера вручили тридцать тысяч франков за другой такой же вексель. Правда, на сей раз он удовольствовался тем, что получил с вас только сумму, указанную в векселе. Каким образом вы раздобыли вчера эти тридцать тысяч франков? Черт меня побери, если я знаю! Ибо вы у нас человек единственный в своем роде... Так что, сами видите, что вы купили последний вексель на двадцать пять тысяч франков, таким образом он получит с вас сто пятьдесят пять тысяч франков за те двадцать пять тысяч франков, что он вам первоначально вручил, вот почему я почел себя вправе сказать, что вас обошел больший ловкач, чем вы сами.

– Но почему он сказал мне, что этот последний вексель, который он сегодня предъявляет к оплате, пущен им в оборот?

– Да чтобы вас не спугнуть; он ведь вам уже раньше говорил, что оба векселя, за исключением того, который был на пятьдесят восемь тысяч франков, пущены им в оборот; но, когда вы заплатили за первый вексель, вчера появился на свет второй, а сегодня – третий.

– Негодяй!..

– Послушайте, один знаменитый правовед сказал: «Каждый за себя и каждый про себя...» Мне очень нравится этот афоризм. Но поговорим хладнокровно: то, как ведет себя Пти-Жан, доказывает (кстати, между нами говоря, я не буду удивлен, если окажется, что, несмотря на свою репутацию человека благочестивого, Жак Ферран с ним в доле и принимает участие в этой спекуляции), так вот, его поведение доказывает, повторяю я, что, разохотившись после ваших первых платежей, Пти-Жан спекулирует сейчас на вашем последнем векселе, как он спекулировал на двух предыдущих, ибо он уверен, что друзья не допустят того, чтобы вы предстали перед судом присяжных. Так что вы должны уяснить себе, не слишком ли вы злоупотребили их добротой и не ободрали ли вы их как липку, удастся ли вам выжать из них еще малую толику золота. Ибо, если через три часа вы не раздобудете двадцать пять тысяч франков, благороднейший виконт, вы окажетесь в остроге.

– Когда вы наконец перестанете твердить мне об этом без передышки?!

– Дело в том, что, прислушиваясь к моим словам, вы, быть может, согласитесь попробовать выдернуть еще одно, последнее перо из крылышка этой щедрой и великодушной герцогини...

– Повторяю вам, об этом и думать нельзя... Найти за три часа еще двадцать пять тысяч франков после всех тех жертв, на которые она пошла ради меня... нет, было бы безумием на это надеяться.

– Для того, чтобы вам понравиться, счастливейший из смертных, можно пойти на все, даже на невозможное...

– Эх, да она уже и так делала все возможное и невозможное, попросить у своего мужа сто тысяч франков и получить их! Нет, такого рода чудеса дважды не повторяются. Вот что, любезный Бадино, до сих пор у вас не было оснований на меня жаловаться... я всегда был щедрым с вами, попытайтесь получить хотя бы недолгую отсрочку у этого мерзавца, у Пти-Жана!.. Вы ведь знаете, я неизменно нахожу способ вознаградить того, кто мне служит; покончив с этим окаянным делом, я вступаю на новое поприще, и вас я не обижу.

– Пти-Жан столь же непоколебим, сколь вы безрассудны.

– Я безрассуден...

– Попробуйте-ка лучше вызвать у вашей великодушной подружки сочувствие к вашему ужасному жребия... Какого черта! Расскажите ей прямо и откровенно все как есть; не повторяйте опять, что вы стали жертвой мошенников, а признайтесь, что мошенником стали вы сами.

– Никогда я не признаюсь ей в этом, позор ужасный, а пользы – никакой.

– Вы предпочитаете, чтобы она завтра узнала обо всем из «Судебной газеты»?

– В моем распоряжении есть еще три часа, я могу бежать.

– А куда вы направитесь без денег?! Напротив же, судите сами: выкупив этот последний фальшивый вексель, вы окажетесь в великолепном положении: у вас не останется ничего, кроме долгов. Послушайте, обещайте мне, что вы еще раз потолкуете с герцогиней. Вы ведь третий калач! Вы сумеете пробудить к себе сочувствие, несмотря на все ваши проступки; в худшем случае вас станут немного меньше уважать или уж на самый худой конец вовсе перестанут уважать, но вылезти из затруднения вам помогут. Послушайте, повторяю, потолкуйте еще разок с вашей прелестной приятельницей; а я тем временем побегу к Пти-Жану, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выторговать у него час или два отсрочки.

– Дьявольщина! Мне предстоит испытать до дна чашу позора!

– Ступайте же! Желаю удачи, будьте нежны, страстны, очаровательны; я иду к Пти-Жану и буду ждать вас там до трех часов, позднее никак нельзя... ведь канцелярия прокурора закрывается в четыре часа пополудни...

С этими словами г-н Бадино вышел из кабинета.

Когда дверь за ним закрылась, послышался голос Флорестана: с глубоким отчаянием он повторял:

– Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Во время этого разговора, который обнажил перед графом всю низость его сына, а перед г-жой де Люсене – всю низость человека, которого она слепо любила, оба они стояли, не шевелясь, едва дыша, подавленные этим ужасным открытием.

Немыслимо передать немое красноречие горестной сцены, действующими лицами которой были молодая красавица и старый граф: больше уже не оставалось никаких сомнений в том, что Флорестан совершил преступление. Протянув руку в направлении кабинета, где находился его сын, старик усмехнулся с горькой иронией и уничтожающе посмотрел на г-жу де Люсене, словно желая сказать: «Вот человек, ради которого вы забыли всякий стыд, тот, кому вы приносили бесчисленные жертвы! Вот тот человек, которого я, по вашим словам, покинул, за что вы меня осуждали!...»

Герцогиня поняла этот немой упрек; под гнетом стыда она на мгновение опустила голову.

Она получила ужасный урок...

Затем мало-помалу жестокая тревога, исказившая черты лица г-жи де Люсене, уступила место надменному негодованию. Непростительные грехи этой светской женщины искупались, по крайней мере, ее самозабвенной любовью, ее отважной преданностью, ее щедростью и великодушием, открытым ее нравом и ее неумолимым отвращением ко всему низкому, подлому и трусливому.

Еще достаточно молодая, красивая и утонченная, она не испытывала чувства унижения от того, что ее возлюбленный эксплуатировал ее чувство, но теперь, когда ее любовь к Флорестану мгновенно испарилась, эта высокомерная и решительная женщина не чувствовала по отношению к нему ни ненависти, ни гнева; мгновенно, без какого-либо постепенного перехода невыносимое отвращение, ледяное презрение убили ее чувство, прежде такое сильное; отныне она уже не была возлюбленной, которую недостойно обманул ее возлюбленный, она вновь превратилась в светскую женщину, которая внезапно обнаружила, что человек ее круга оказался мошенником, совершившим подлог, и потому его следует выгнать вон.

Если даже предположить, что какие-либо обстоятельства и могли бы смягчить и как-то извинить бесчестный поступок Флорестана, г-жа де Люсене не стала бы принимать их в расчет; по ее мнению, человек, преступивший законы чести вследствие порочности, увлечения или слабости, больше для нее не существовал; честь, порядочность были для нее вопросом жизни.

Единственное горестное чувство, владевшее герцогиней, было понимание того, какое ужасное впечатление произвело на графа, старого ее друга, столь неожиданное и тяжелое открытие.

Вот уже несколько мгновений он, казалось, ничего не видит и не слышит; вперив глаза в портьеру, опустив голову, бессильно уронив руки, он мертвенно побледнел; время от времени судорожный вздох вздымал его грудь.

Такое оцепенение у человека решительного и энергического было более страшно, нежели самый яростный взрыв гнева.

Госпожа де Люсене с тревогой наблюдала за ним.

– Мужайтесь, друг мой, – сказала она графу тихим голосом. – Ради вас... ради меня самой... ради этого человека, я знаю, как мне следует теперь поступить.

Старик пристально посмотрел на нее; затем, словно выведенный из своей оцепенелости сильным потрясением, он вскинул голову, на его лице появилось угрожающее выражение, и, забыв, что сын может услышать его, он воскликнул:

– И я тоже знаю, как мне надлежит поступить ради вас, ради себя самого и ради этого человека...

– Да кто это там? – раздался удивленный голос Флорестана.

Госпожа де Люсене, боясь встретиться с виконтом, исчезла в маленькой потайной двери и поспешно сбежала по укрытой от посторонних глаз лестнице.

Флорестан, все еще продолжая вопрошать, кто находится в гостиной, и не получая ответа, откинул портьеру и вошел туда. И оказался с глазу на глаз с графом.

Длинная белая борода настолько изменила облик г-на де Сен-Реми, он был так бедно одет, что сын, не выдавший отца уже несколько лет, сперва не узнал его: подойдя к графу, он спросил с угрожающим видом:

– Что вы тут делаете?.. Кто вы такой?

– Я – муж этой женщины! – отвечал г-н де Сен-Реми, указывая на портрет покойной графини.

– Отец! – в страхе воскликнул Флорестан, отпрянув: он вспомнил лицо графа, чьи черты уже давно позабыл.

Стоя с грозным видом, пылающим от гнева взглядом, покрасневшим от негодования челом, отбросив назад свои белоснежные волосы, скрестив руки на груди, граф подавлял, буквально испепелял своего сына, а тот, опустив голову, не решался поднять глаза.

Однако г-н де Сен-Реми по какой-то тайной причине сделал над собой невероятное усилие, чтобы сохранить самообладание и не выдать владевший им гнев.

– Отец! – повторил Флорестан дрожащим голосом. – Вы все время были здесь?..

– Да, я был здесь...

– И все слышали?..

– До последнего слова.

– Ах! – горестно воскликнул виконт, закрывая лицо руками.

Наступило короткое молчание.

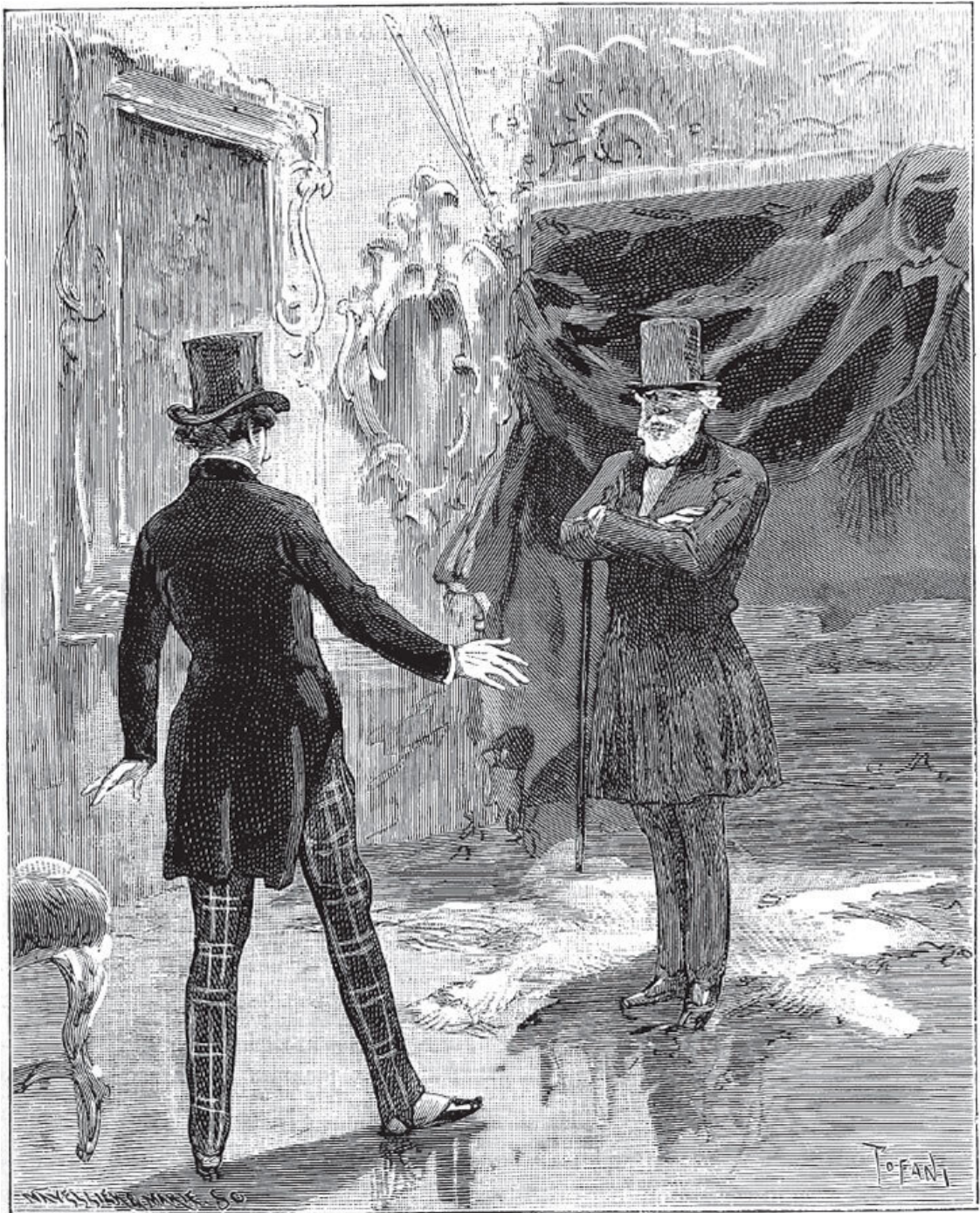
Флорестан, сначала донельзя удивленный и огорченный неожиданным появлением отца, уже вскоре подумал, как человек предприимчивый, о той пользе, какую он может извлечь из столь невероятного стечения обстоятельств.

«Еще не все потеряно, – сказал он себе. – Появление моего отца – это перст судьбы. Он теперь знает все и не захочет, чтобы его имя было опозорено; он человек небогатый, но уж двадцать пять тысяч франков у него, конечно, найдутся. Поведем игру осторожно... Проявим ловкость, изобразим порыв отчаяния, глубокое волнение... тогда можно будет оставить в покое герцогиню, а я буду спасен!»

Затем, придав чертам своего очаровательного лица выражение глубокой печали и уныния, выдавив из глаз слезы раскаяния, придав своему голосу дрожащие нотки, он самым патетическим тоном воскликнул, в отчаянии ломая руки:

– Ах, отец!.. Я до того несчастен!.. Увидеть вас после стольких лет разлуки... и в такую минуту!.. Разумеется, я кажусь вам виновным, таким виновным! Но соблаговолите выслушать меня, умоляю вас; позвольте мне не оправдаться перед вами, но хотя бы объяснить мое поведение... Согласны ли вы на это, отец?..

Граф де Сен-Реми не ответил ни слова; лицо его оставалось бесстрастным; он опустился в кресло, на спинку которого перед тем опирался, и, сидя в нем, подпирая ладонью подбородок, молча смотрел на своего сына.



– Отец! – повторил Флорестан дрожащим голосом. – Вы все время были здесь?..

Если бы Флорестан знал причины, переполнявшие душу его отца ненавистью, яростью и жаждой мести, то, испуганный наружным спокойствием графа, он, без сомнения, не сделал бы попытки обмануть отца, как обманывали простака Жеронта.

Однако, не подозревая о зловещих подозрениях, связанных с тайной его рождения, ничего не зная об измене своей матери, Флорестан был уверен в успехе задуманного им обмана, полагая, что главное – разжалобить своего отца, человека хотя и нелюдимого, но весьма гордого своим родовым именем, а уж тогда тот пойдет на крайние жертвы, лишь бы не допустить того, чтобы имя это было опозорено.

– Отец, – робко начал Флорестан, – позвольте же мне попытаться, не снимая с себя вины, объяснить вам, в силу каких невольных увлечений я почти что против собственной воли дошел до... постыдных деяний... которых я не отрицаю...

Виконт принял упорное молчание отца за молчаливое согласие и продолжал:

– Когда я, к несчастью, лишился матери... моей бедной матери, которая меня так любила... мне было всего двадцать лет... Я был совершенно одинок... не у кого было спросить совета... не у кого было искать поддержки... Я обладал весьма значительным состоянием... С детства привыкнув жить в роскоши... я уже не мог обходиться без нее... она стала для меня необходимой. Я и не подозревал, как трудно достаются людям деньги, я тратил их без счета и без меры... К несчастью... я говорю, к несчастью, это-то меня и погубило, мои траты, мои самые безрассудные траты были замечены и оценены как проявление элегантности... Обладая хорошим вкусом, я затмевал людей, которые были в десять раз богаче меня... Первые успехи опьянили меня, и я стал законодателем в роскоши, подобно тому как становятся человеком военным или государственным мужем; да, я любил роскошь не потому, что пошло кичился ею, я полюбил ее так, как живописец любит свои полотна, как поэт любит свои стихи; как всякий артист, я ревностно относился к своему творчеству: а моим творчеством была... роскошь. Я жертвовал всем ради того, чтобы ее умножить, я хотел, чтобы моя роскошь была красива, величественна, чтобы она проявлялась во всем, чтобы одна вещь в моем доме гармонировала с другой... начиная с моей конюшни и кончая моими трапезами, начиная с моего платья и кончая убранством моего особняка. Я жаждал, чтобы вся моя жизнь была образцом непогрешимого вкуса и элегантности. Как всякий артист, я, наконец, жаждал аплодисментов толпы и восторгов людей из высшего общества; и этого столь редкого успеха я достиг...

Пока Флорестан говорил, черты его лица мало-помалу утрачивали лицемерное выражение, глаза его горели от искреннего восторга. Теперь он говорил правду: поначалу его и в самом деле увлек не столь часто встречающийся дар постигать красоту роскоши.

Виконт внимательно посмотрел на отца, и ему почудилось, что лицо графа слегка смягчилось.

Он продолжал со все возрастающим возбуждением:

– Я стал оракулом и знатоком моды, моя похвала или осуждение приобрели силу закона; меня ставили в образец, мне подражали, меня прославляли, мною восторгались – все это происходило в высшем свете Парижа, другими словами, Европы, всего мира... Женщины разделяли всеобщее увлечение мною, самые очаровательные дамы спорили между собой, кому выпадет удовольствие присутствовать на празднествах, которые я давал для избранных гостей, везде и всюду неизменно восторгались несравненной элегантностью этих приемов, отличавшихся безукоризненным вкусом... ни один миллионер не мог не только затмить меня, но даже сравниться со мной; наконец я превратился в человека, которого нарекли «королем моды»... Этот титул все вам объяснит, если вы понимаете его смысл и значение...

– Я отлично понимаю... и я уверен, что на каторге вы изобретете необыкновенно элегантный и изящный способ носить кандалы... Способ этот уже скоро станет модным среди всех обитателей каторги, и его назовут... способом Сен-Реми, – сказал старик с кровоточащей иронией... И тут же прибавил: – А ведь Сен-Реми – это и мое имя!..

Он умолк, продолжая сидеть все в той же позе: подперев подбородок рукою.

Флорестану потребовалось немалое самообладание, чтобы стерпеть боль от раны, нанесенной ему столь едким сарказмом.

Он продолжал уже более спокойным и смиренным тоном:

– Увы! Отец, я ведь не из кичливой гордости рассказываю вам о моих былых успехах... ибо, повторяю вам, именно этот успех и погубил меня... Человек изысканный, вызывавший зависть и лесть, человек, перед которым заискивали не какие-нибудь прихлебатели, жаждавшие поживиться крохами с моего стола, а люди, чье положение в обществе было гораздо более высоким, чем мое, люди, перед которыми у меня было только одно преимущество – элегантность... а ведь элегантность, изящество играют в мире роскоши ту же роль, что непогрешимый вкус – в искусстве... я не выдержал испытания успехом, и голова у меня пошла кругом... Я перестал считать деньги: я понимал, что растрату свое состояние за несколько лет, но не задумывался над этим. Разве мог я отказаться от этой блестящей лихорадочной жизни, где одни удовольствия сменялись другими, одни утехи следовали за другими, после одного праздника затевался другой, меня пьянили наслаждения, мне кружили голову восторги... О, если бы вы только знали, отец, какое это ощущение, когда тебя всюду встречают... как героя дня!.. Когда, входя в гостиную, ты слышишь восторженный шепот, которым встречают тебя... ты слышишь, как одна из женщин говорит другой: «Это он... вот он!..» О, если б вы только знали это...

– Я знаю, – холодно сказал граф, обрывая сына, – я знаю... – Не меняя позы, он прибавил: – Да, несколько дней назад на городской площади собралась толпа; внезапно послышался громкий шепот... похожий на тот, которым вас встречают там, где вы появляетесь, затем взоры всех собравшихся, особенно женщин, остановились на очень красивом малом... совсем так, как они останавливаются на вас... и женщины эти показывали друг дружке на него, приговаривая: «Это он... вот он...» – совсем так, как приговаривают они, видя вас...

– Но кто же был этот человек, скажите, отец?

– Это был мошенник, которого за подлог вели в железном ошейнике к позорному столбу.

– Ах! – воскликнул Флорестан, с трудом подавляя ярость. Затем, изобразив глубокую, но притворную скорбь, он прибавил: – Отец, вы просто безжалостны ко мне... что же я еще могу вам сказать? Ведь я не пытаюсь отрицать свои поступки... я только стремлюсь объяснить вам роковые увлечения, которые к ним привели. Так вот! Можете обрушить на меня самый жестокий сарказм, я все-таки попытаюсь дойти до конца в своей исповеди и постараюсь добиться того, чтобы вы поняли то лихорадочное возбуждение, которое погубило меня, ибо тогда вы, быть может, пожалеете меня... Да, ибо жалеют ведь безумца... а я был тогда безумцем... Зажмурился глазами, я отдавался блестящему вихрю удовольствий, увлекая с собой самых очаровательных женщин, самых приятных мужчин. Как же я мог остановиться? Это все равно, что сказать поэту, изнемогающему под тяжестью творчества, поэту, чей гений разрушает его здоровье: «Остановитесь, хотя вы и охвачены неистовым вдохновением!» Нет, я... я не мог остановиться, не мог отказаться от королевства, которое сам и создал, уйти оттуда с позором, разоренным и осмеянным, чтобы раствориться в никому не известной черни; позволить восторжествовать надо мною завистникам, которым я до тех пор успешно противостоял, которых я подавлял и сокрушал!.. Нет, нет, сделать этого я не мог!.. Во всяком случае, по своей воле. И вот наступил роковой день, когда в первый раз у меня не оказалось свободных денег. Я был просто изумлен, как будто такой день не должен был непременно наступить. Однако у меня еще оставались мои лошади, мои экипажи, обстановка этого особняка... Расплатившись с долгами, предварительно все распродав, я мог бы сохранить какие-то жалкие шестьдесят тысяч франков... быть может... Что бы я стал делать со столь мизерной суммой? И тогда, отец, я сделал первый шаг по стезе бесчестия... Я пока еще оставался честным... я истратил только то, что мне принадлежало; но начиная с того дня я стал делать долги, которые – это было очевидно – уплатить не смогу... Я продал все, что мне принадлежало, двум из моих слуг, чтобы

рассчитаться с ними и получить возможность еще полгода, не возвращая долги кредиторам, наслаждаться роскошью, которая всегда опьяняла меня... Чтобы уплачивать карточные проигрыши и продолжать мои безумные траты, я начал брать деньги у ростовщиков; затем, чтобы расплатиться с этими ростовщиками, я брал в долг у друзей, а чтобы расплатиться с друзьями, стал брать займы у своих возлюбленных. Исчерпав все эти возможности, я оказался над пропастью... Из честного человека я превратился в афериста... но я еще не сделался преступником... И тут я заколебался... я хотел было решиться на отчаянный шаг... участвуя в нескольких поединках, я уже знал, что не боюсь смерти... и я решил покончить с собой!..

– Ах, даже так?.. В самом деле? – осведомился граф со свирепой иронией.

– Отец, вы мне не верите?

– Такое решение было принято либо слишком рано, либо слишком поздно! – прибавил граф, по-прежнему не меняя позы и сохраняя бесстрастный вид.

Флорестан, думая, что ему удалось разжалобить отца, рассказав ему о своих планах самоубийства, счел необходимым усилить впечатление от этой сцены театральным эффектом.

Он отпер шкафчик, достал оттуда небольшой флакон зеленоватого стекла и, поставив его на столик, сказал графу:

– Некий шарлатан-итальянец продал мне этот яд...

– И этот яд... был приготовлен... для вас? – спросил старик, по-прежнему подпирая подбородок рукой.

Флорестан понял истинный смысл этих слов.

На сей раз на лице его отразилось неподдельное негодование, ибо он сказал правду.

В один прекрасный день ему и в самом деле взбрело в голову покончить с собой; но то была лишь мимолетная фантазия! Люди его пошиба слишком трусливы, чтобы решиться хладнокровно и без свидетелей принять смерть, которой они, защищая свою дворянскую, а вернее, светскую честь, смотрели в лицо во время дуэли.

Вот почему он воскликнул, на этот раз не обманывая графа:

– Да, я пал очень низко... но все же не до такой степени, отец. Этот яд я хранил для себя!

– И под конец испугались? – осведомился граф, не меняя позы.

– Признаюсь, я отступил перед этим крайним решением; ведь еще не все было потеряно: люди, которым я задолжал деньги, были богаты и могли подождать. Ведь я был еще молод, у меня были нужные связи, я надеялся если не восстановить утраченное состояние, то, по крайней мере, добиться известного положения в обществе, определенной независимости, которая могла бы поддержать мой престиж... Многие мои друзья, быть может, даже менее способные, чем я, сделали быструю карьеру на дипломатическом поприще. А я ведь не лишен некоторого честолюбия... Стоило мне только пожелать, и я был зачислен в состав посольской миссии, направлявшейся в княжество Герольштейн... К несчастью, через несколько дней после этого назначения карточный долг одному человеку, которого я ненавидел, поставил меня в крайне затруднительное положение... я уже использовал все свои возможности... И тогда мне в голову пришла роковая мысль. Будучи уверен в собственной безнаказанности, я совершил низкий поступок... Как видите, отец, я ничего от вас не скрыл... я признаю всю отвратительность моего поведения, я не пытаюсь ни в чем преуменьшить свой позор... У меня остаются два выхода, и я готов принять любой из них... Первый выход – покончить с собой... но таким образом оставить ваше имя запятнанным, ибо, если я сегодня же не выкуплю за двадцать пять тысяч франков этот окаянный вексель, жалоба будет подана, скандал разразится, и – живой или мертвый – я буду опозорен. Есть и другой выход, отец: броситься в ваши объятия... и умолять вас: «Спасите своего сына, спасите ваше достойное имя от позора...» А я клянусь вам завтра же уехать в Африку, поступить на военную службу простым солдатом и либо встретить там свою смерть, либо возвратиться к вам в один прекрасный день, доблестью искупив свое позорное прошлое... Я говорю вам сейчас, отец, чистую правду... Оказавшись в столь край-

них и безысходных обстоятельствах, иного выхода я для себя не вижу... Решайте же... либо я умру, покрытый позором, либо благодаря вам... я буду жить, чтобы исправить свой проступок... Все, что я говорю, – отнюдь не угрозы и не пустые слова запутавшегося юноши, слышите, отец... Мне двадцать пять лет, и у меня достанет мужества либо покончить с собой... либо стать солдатом, потому что идти на каторгу я не хочу...

Граф встал с места.

– Я не желаю, чтобы имя мое было опозорено, – холодно сказал он Флорестану.

– Ах, отец! Вы мой спаситель! – с жаром воскликнул виконт.

Он уже готов был броситься в объятия графа, но тот ледяным жестом остановил этот порыв.

– Вас, кажется, ждут до трех часов дня... у того человека, в чьих руках находится подложный вексель?

– Да, отец... а сейчас уже два часа...

– Пройдем к вам в кабинет... дайте мне перо и бумагу.

– Вот они, отец.

Старик быстро написал:

«Я обязуюсь заплатить в десять часов вечера двадцать пять тысяч франков, которые должен мой сын.
Граф де Сен-Реми».

– Вашего кредитора интересуют только деньги; вопреки угрозам мое обязательство заставит этого человека согласиться на новую отсрочку; пусть он побывает у господина Дюпона, моего банкира, в доме номер семь по улице Ришелье; там ему подтвердят надежность этого документа.

– О, дорогой отец!.. Каким образом смогу я когда-нибудь...

– Вы будете ждать меня нынче вечером... в десять часов, я принесу вам деньги... Пусть ваш кредитор ждет меня тут...

– Да, отец; а послезавтра я отправлюсь в Африку... Вы убедитесь, способен ли я быть неблагодарным?! Возможно, позднее, когда я смою свой позор, вы согласитесь принять мою признательность.

– Вы мне ничем не обязаны; я уже сказал, что отныне мое имя больше никогда не будет опозорено, и оно не будет опозорено, – холодно ответил граф де Сен-Реми.

Взяв свою дубинку, лежавшую на письменном столе, он направился к двери.

– Отец, протяните мне, по крайней мере, вашу руку! – воскликнул Флорестан умоляющим тоном.

– Здесь, сегодня вечером, в десять часов, – ответил граф, не подавая руки сыну.

С этими словами он вышел.

– Спасен!.. – вскричал Флорестан, и лицо его засияло. – Спасен!

Затем, после минутного размышления, он прибавил:

– Почти спасен... Ну, это не важно, одно к одному... Быть может, вечером я признаюсь ему и в другой истории. Он уже сделал первый шаг... И не захочет остановиться на полпути, вступив на столь благородную стезю, ибо его первая жертва окажется бесполезной, если он не пойдет и на вторую... А потом, стоит ли ему это рассказывать?.. Никто о том никогда не узнает!.. В самом деле, если ничто не раскроется, я сохраню деньги, которые он даст мне для покрытия этого последнего долга... Мне с трудом удалось растрогать его, этого окаянного старика!!! Едкость его саркастических фраз заставила меня усомниться в его благих намерениях; однако моя угроза покончить с собой, боязнь увидеть опозоренным свое имя заставили его решиться; да, именно по этому больному месту и надо было его ударить... Он, без сомнения, не так уж беден, как это может показаться с первого взгляда... Если у него была сотня тысяч

франков, то он ее, конечно, приумножил, соблюдая такую бережливость... Повторю еще раз: его приход – это перст судьбы... Вид у него свирепый, но думаю, что, в сущности, он человек добродушный... А теперь поспешим к этому сутяге!

Виконт позвонил в колокольчик. На пороге показался Буайе.

– Как же это вы не предупредили меня о том, что в доме находится мой отец? Вы проявили непростительную небрежность...

– Я дважды пытался обратиться к господину виконту, когда он вошел в сад с господином Бадино; однако господин виконт, должно быть поглощенный разговором со своим собеседником, махнул рукой, давая мне понять, чтобы я его не беспокоил... Я не позволил себе настаивать... Я был бы глубоко огорчен, если бы господин виконт счел меня виновным в небрежности.

– Ну ладно... Прикажите Эдвардсу без промедления запрячь в кабриолет пару рысаков. Буайе склонился в почтительном поклоне.

Когда он выходил из кабинета, в дверь постучали.

Буайе с немим вопросом посмотрел на виконта.

– Войдите! – крикнул Флорестан.

Второй камердинер вошел в комнату, держа в руке небольшой позолоченный поднос.

Буайе принял у него из рук поднос с ревностной услужливостью и с почтительной поспешностью направился к виконту.

Тот взял с подноса довольно объемистый конверт, запечатанный черной восковой печатью.

Слуги неслышно вышли из кабинета.

Флорестан вскрыл конверт. В нем лежали двадцать пять тысяч франков в казначейских билетах... Никакой записки не было.

– Положительно, сегодня необыкновенно удачный день! – воскликнул виконт. – Спасен! На этот раз безусловно и полностью спасен!.. Побегу к ювелиру... а впрочем, – сказал он себе, – быть может... Нет, обождем... против меня не может возникнуть и тени подозрения... Стоит сохранить эти двадцать пять тысяч... Черт побери! До чего ж я глуп, что усомнился в своей счастливой звезде!.. В ту самую минуту, когда она, казалось, померкла, она вдруг загорается еще ярче!.. Но откуда появились эти деньги? Почерк на конверте мне незнаком... поглядим на печать... на вензель... Ну да, да... я не ошибся: буква «Н» и буква «Л»... Это она, Клотильда!..

Но как она могла узнать?.. И ни одного словечка... Это весьма странно! Но зато своевременно!.. Ах, господи боже! Теперь я вспомнил... Ведь на сегодняшнее утро я назначил ей свидание... Угрозы этого Бадино выбили меня из колеи... И я забыл о Клотильде... Подождая меня внизу, она, должно быть, ушла?.. Без сомнения, этот конверт с деньгами – деликатный способ напомнить мне, что она боится, не забывая ли я о ней, озабоченный денежными затруднениями. Да, это косвенный упрек в том, что я не обратился за помощью к ней, как обычно... Добрая Клотильда! Всегда остается самой собой!.. Щедра и великодушна, как королева! Как досадно, что я дошел с ней до денежных просьб... ведь она еще так хороша! Да, порою я об этом жалею... но ведь я прибегаю к ее помощи лишь в самых крайних случаях... Меня нужда заставляет.

– Кабриолет господина виконта подан, – объявил, входя в кабинет, Буайе.

– Кто принес это письмо? – спросил у него Флорестан.

– Не знаю, господин виконт.

– Действительно, я спрошу об этом внизу... Но, скажите, на первом этаже меня никто не ждет? – прибавил Флорестан, выразительно взглянув на камердинера.

– Сейчас там больше никого нет, господин виконт.

«Стало быть, я не ошибся, – подумал Флорестан, – Клотильда не дождалась меня и ушла».

– Не соблаговолит ли господин виконт уделить мне две минуты? – спросил Буайе.

– Говорите, но поторопитесь.

– Эдвардс и я слышали, что герцог де Монбризон хотел бы обзавестись собственным особняком; не будет ли господин виконт так добр и не предложит ли он герцогу свой особняк со всей обстановкой и конюшню, которая в полном порядке... Для меня и для Эдвардса тем самым представился бы весьма удобный случай сбыть все с рук, а для самого господина виконта, быть может, это прекрасный случай объяснить, почему он вдруг решил все распродать.

– Черт побери, а вы ведь совершенно правы, Буайе... я и сам предпочту такую сделку... Я увижусь с Монбризоном и поговорю с ним. Каковы ваши условия?

– Господин виконт отлично понимает... что нам хотелось бы как можно лучше воспользоваться его щедростью.

– И получить больше того, что вы заплатили... Это ясно как день! Что ж, поглядим... Ваша цена?

– За все про все двести шестьдесят тысяч франков, господин виконт.

– И сколько же вы заработаете на этом с Эдвардсом?..

– Около сорока тысяч франков, господин виконт...

– Неплохо! Впрочем, куда ни шло... Ведь, в конце концов, я доволен вами обоими... и если бы я составлял завещание, то именно такую сумму отказал бы вам и Эдвардсу.

И виконт вышел из кабинета, чтобы отправиться сначала к своему кредитору, а затем к герцогине де Люсене: он ведь не подозревал, что эта дама слышала весь его разговор с Бадино.

Глава IX

Обыск

Особняк герцога де Люсене был одним из, можно сказать, королевских жилищ Сен-Жерменского предместья, которые казались особенно грандиозными, ибо занимали огромную территорию; современный дом без труда уместился бы в лестничной клетке любого из этих дворцов, и можно было бы возвести целый квартал на том пространстве, которое они занимали.

В уже описанный нами день, часов в девять вечера, обе створы громадных ворот особняка распахнулись, чтобы пропустить во двор великолепную двухместную карету: красиво описав круг в огромном дворе, кабриолет этот остановился перед широким крыльцом, пройдя которое можно было попасть в первую прихожую.

Пока два резвых и сильных скакуна перебирали ногами, постукивая копытами по звонким плитам двора, гигантского роста выездной лакей отворил дверцу, украшенную гербами; молодой человек легко выпрыгнул из блестящего экипажа и быстро взбежал по пяти или шести ступеням крыльца.

Этот молодой человек был виконт де Сен-Реми.

Выйдя от своего кредитора, который, удовлетвоваввшись обязательством, подписанным отцом Флорестана, согласился на новую отсрочку и пообещал прийти за деньгами на улицу Шайо в десять вечера, виконт де Сен-Реми решил заехать к г-же де Люсене, чтобы поблагодарить ее за новую услугу, которую она ему оказала; не встретившись с герцогиней утром, он приехал к ней в особняк с победоносным видом, рассчитывая застать ее *prima sera*¹⁴, в час, когда она обычно принимала его.

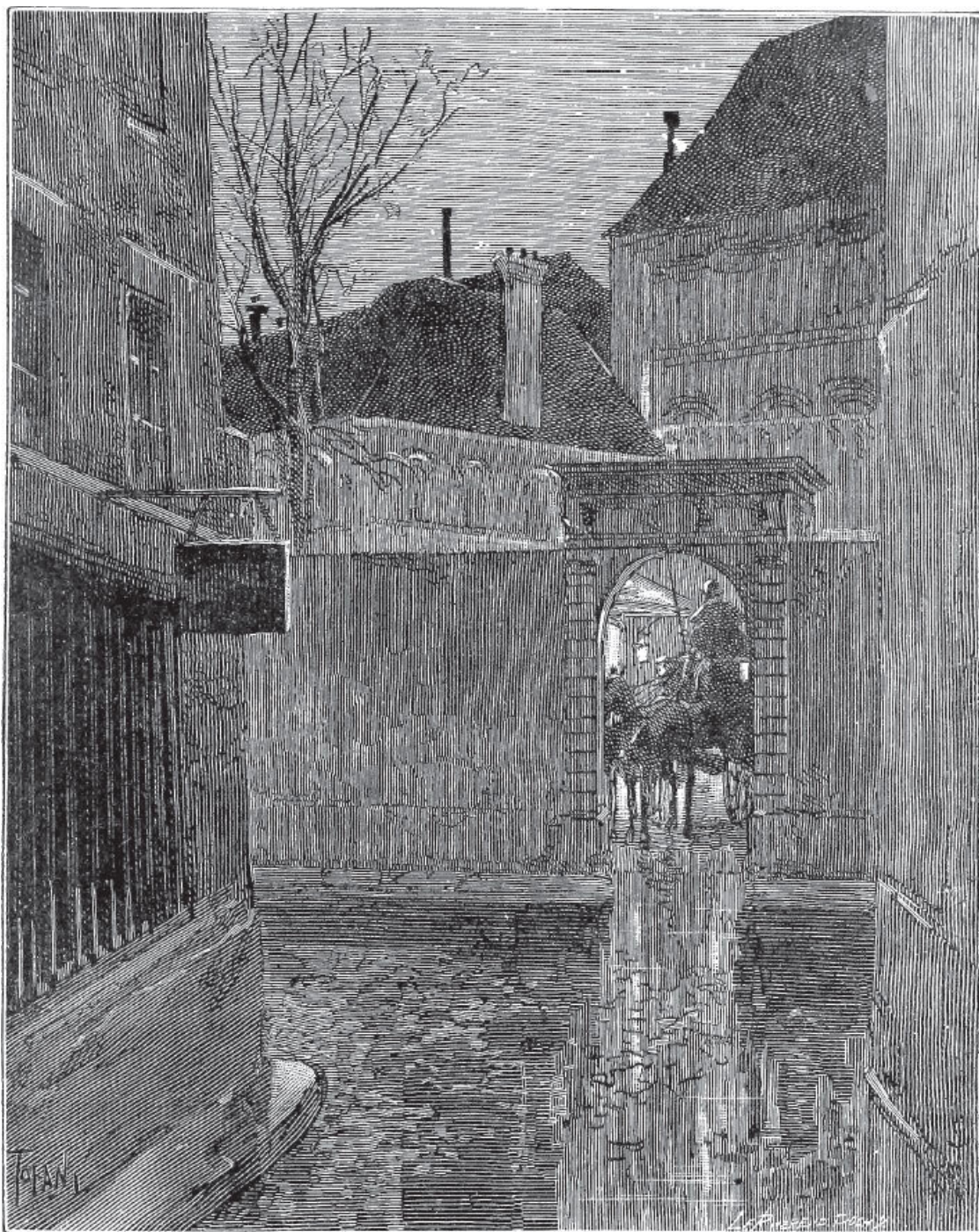
По тому, как поспешно сидевшие в передней два лакея кинулись отворять застекленную дверь, едва узнав экипаж Флорестана, по необычайно почтительному виду, с которым остальные слуги торопливо вставали с места, когда мимо проходил виконт, наконец, по еще некоторым неприметным, но многозначительным признакам нетрудно было угадать, что прибыл второй, а вернее сказать, настоящий хозяин дома.

Когда герцог де Люсене возвращался к себе с зонтом в руке, обутый в огромного размера башмаки (он терпеть не мог выезжать днем из дому в экипаже), слуги встречали его столь же почтительно; однако от глаз внимательного наблюдателя не укрылась бы заметная разница в выражении лиц прислуги, когда она встречала мужа герцогини или ее возлюбленного.

Такую же торопливую любезность выказали и находившиеся в гостиной камердинеры, когда туда вошел Флорестан; в ту же минуту один из них сопровождал его во внутренние покои, чтобы доложить о его приходе г-же де Люсене.

Никогда еще виконт не ощущал себя до такой степени в зените славы, никогда еще он не чувствовал себя более непринужденно, более самоуверенно, никогда еще у него не был столь победительный вид...

¹⁴ Ранним вечером (*ит.*).



Особняк герцога де Люсене

Победа, которую он одержал утром над своим отцом, новое доказательство привязанности со стороны герцогини де Люсене, радость от сознания того, что он таким чудесным образом выпутался из того ужасного положения, в которое попал, возродившаяся вера в свою счастливую звезду – все это придавало его красивому лицу выражение отваги и превосходного расположения духа, а это еще более усиливало его очарование; словом, никогда еще виконт не чувствовал себя так безмятежно.

И по-своему он был прав.

Никогда его тонкая и гибкая фигура не отличалась столь непринужденной осанкой; никогда еще чело его не было столь ясным, а взгляд столь высокомерным; никогда еще его гордости до такой степени не льстила мысль: «Весьма знатная дама, владычица этого дворца, принадле-

жит мне, она буквально у моих ног. Еще этим утром она приходила в мой дом и ждала меня там...»

Проходя через три или четыре гостиных, что вели в небольшой будуар, где обычно находилась в этот час герцогиня, Флорестан предавался этим тешившим его самолюбие тщеславным мыслям. Бросив на ходу последний взгляд в висевшее на стене зеркало, он окончательно укрепился в самом высоком о себе мнении.

Камердинер, распахнув обе створки двери, ведущей в гостиную герцогини, громко возвестил:

– Господин виконт де Сен-Реми!

Нет возможности передать удивление и гнев герцогини!

Она думала, граф не скрыл от своего сына, что она тоже слышала его разговор с Бадино.

Мы уже сказали: поняв всю степень низости Флорестана, г-жа де Люсене внезапно и мгновенно избавилась от любви к нему, и ее прежнее чувство уступило место ледяному презрению.

Помимо того, мы сказали: несмотря на все свое легкомыслие и все свои грехи, герцогиня де Люсене сохранила в чистоте и нетронутости свое представление о прямоте, чести, рыцарской верности, о силе характера и требовательности к себе, которыми должен обладать мужчина; в самих ее недостатках было что-то возвышенное, в самих ее пороках присутствовала некая добродетель: относясь к любви столь же раскованно, как к ней относятся мужчины, она гораздо больше, чем они, была способна на истинную преданность, великодушие, мужество, а главное, испытывала отвращение и ужас перед любым проявлением низости.

Госпожа де Люсене собиралась ехать на светский раут; поэтому, хотя она еще не надела свою бриллиантовую диадему, одета она была с присущим ей вкусом и элегантностью; на ней было роскошное платье, она открыто и смело ярко румянила щеки до самых век, как это было принято при королевском дворе, красота ее, особенно заметная на свету, ее стройная фигура, фигура богини, ступающей по облакам, делали еще более впечатляющим присущий ей гордый вид знатной светской дамы, которым мало кто обладал в высшем свете, и, следуя своему капризу или прихоти, она могла быть дерзкой до невероятия...

Надменный и решительный нрав герцогини де Люсене нам уже известен: пусть же читатель представит теперь ее негодующее лицо и разгневанный взор, которым она встретила виконта; он между тем, приблизившись к ней, как всегда элегантный и улыбающийся, сказал с доверительной, исполненной любви улыбкой:

– Моя дорогая Клотильда... как вы добры! Как вы...

Виконт не успел закончить фразу.

Герцогиня продолжала сидеть в кресле не шевелясь; но ее нетерпеливый жест, ее разгневанный взор выразили такое презрение – равнодушное и вместе с тем уничтожающее, – что Флорестан запнулся и замер на месте...

Он не мог произнести ни слова, не мог сделать ни шага вперед.

Никогда еще он не видел г-жу де Люсене такой. Он не мог поверить, что перед ним та самая женщина, которая всегда была с ним ласкова, нежна, темпераментна и покорна; ибо нет на свете женщины более смиренной и готовой на все, чем женщина с характером, остающаяся наедине с человеком, которого она любит и которому полностью подчиняется.

Когда первая минута удивления миновала, Флорестан устыдился собственной слабости; обычная его дерзость взяла верх. Сделав шаг по направлению к герцогине де Люсене, он попытался завладеть ее рукой и сказал с особенной лаской в голосе:

– Боже мой! Клотильда, что случилось?... Никогда еще ты не была так хороша и вместе с тем...

– Ах! Ваша наглость переходит всякие пределы! – воскликнула герцогиня, отпрянув с таким отвращением и высокомерием, что Флорестан снова замер; он был ошеломлен и растерян.

Затем, взяв себя в руки и собравшись с духом, он спросил:

– Объясните мне, по крайней мере, Клотильда, причину столь внезапной перемены! Что я вам сделал дурного?.. В чем я провинился перед вами?

Ничего не ответив, г-жа де Люсене, как принято выражаться, смерила его с головы до ног таким оскорбительным и презрительным взглядом, что кровь прилила к лицу Флорестана и он воскликнул, не помня себя от гнева:

– Я знаю, сударыня, что вы обычно резко обрываете свои связи... Вы что же, решили порвать со мной?

– Какая нелепая претензия! – ответила герцогиня с сардоническим взрывом смеха. – Знайте, сударь, что, когда лакей обкрадывает меня... я не порываю с ним... я выгоняю его вон...

– Милостивая государыня!..

– Довольно, – отрывистым и оскорбительным тоном отрезала герцогиня, – ваше присутствие для меня нестерпимо! Что вам тут нужно? Разве вы не получили деньги?

– Стало быть, это правда... Я верно угадал... Эти двадцать пять тысяч франков...

– Посланы вам для того, чтобы вы могли выкупить ваш последний подложный вексель! Имя вашей семьи будет спасено от позора. Вот и все... а теперь ступайте отсюда...

– Ах, поверьте...

– Мне очень жаль этих денег, они могли бы оказать поддержку многим честным людям... но следовало позаботиться о том, чтобы избежать позора для вашего отца, да и для меня.

– Стало быть, Клотильда, вы все знали?.. О, значит, теперь мне остается только одно: умереть! – воскликнул Флорестан с пафосом, изображая крайнюю степень отчаяния.

В ответ на его трагическую фразу герцогиня бесцеремонно расхохоталась и прибавила между двумя взрывами шумной веселости:

– Боже мой! Никогда не думала, что низость может быть столь смешна!

– Милостивая государыня!.. – воскликнул Флорестан, и лицо его исказилось от ярости.

Обе створки двери с шумом распахнулись, и камердинер возгласил:

– Господин герцог де Монбризон!

Несмотря на все свое самообладание, Флорестан с огромным трудом старался скрыть гнев и злобу, которые человек более искушенный, чем юный герцог, конечно, заметил бы.

Герцогу де Монбризону едва исполнилось восемнадцать лет.

Представьте себе очаровательное, почти девичье лицо, ослепительно белую кожу с легким румянцем, белокурые волосы, нежно очерченный подбородок, на котором едва пробивался первый пушок нарождавшейся бороды; прибавьте ко всему этому большие карие глаза, чуть застенчивый, но живой взгляд, тонкую и гибкую талию, почти такую же, как у герцогини де Люсене, и вы, быть может, представите себе портрет молодого герцога, походившего на самого прелестного Керубино, какого только доводилось графине де Альмавива и ее служанке наряжать в женский чепчик, вдоволь налюбовавшись белизной его шеи, отливавшей слоновой костью.



– Какая нелепая претензия! – ответила герцогиня с сардоническим взрывом смеха.

Виконт де Сен-Реми то ли из слабости, то ли из дерзости все же решил остаться в гостиной...

– Как это мило, Конрад, что вы вспомнили обо мне сегодня вечером! – проговорила герцогиня де Люсене приветливо и нежно, протягивая руку юному герцогу.

Молодой человек собрался было обменяться рукопожатием со своей кузиной, но Клотильда слегка приподняла руку и весело сказала ему:

– Лучше поцелуйте мне руку, кузен, ведь вы еще в перчатках.

– Простите меня великодушно, кузина... – пробормотал юноша и припал губами к очаровательной обнаженной руке, которую протянула ему герцогиня.

– Что вы собираетесь делать нынче вечером, Конрад? – спросила г-жа де Люсене, не обращая никакого внимания на хранившего молчание Флорестана.

– Да ничего особенного, кузина; уйдя от вас, я поеду в клуб.

– Ни в коем случае: вы будете сопровождать герцога де Люсене и меня к госпоже де Сенваль, она сегодня принимает; и она уже несколько раз просила меня ей вас представить.

– Дорогая кузина, я буду счастлив подчиниться вашему желанию.

– Кроме того, говоря откровенно, не по душе мне, что вы уже хотите приобрести привычку ездить в клуб; что за прихоть? У вас ведь есть все основания рассчитывать, что вас будут охотно принимать и даже усиленно приглашать на светские приемы и вечера... И вам следует там почаще бывать.

– Я готов, дорогая кузина.

– А так как я вам гожусь почти что в бабушки... мой милый Конрад, я буду постоянно на этом настаивать. Вы, правда, уже дееспособны, но полагаю, что вам еще долго будет нужно заботливое попечение, и вам придется примириться с тем, что опекать вас буду я.

– С великой радостью, почту за счастье, кузина! – с живостью воскликнул юный герцог.

Невозможно описать немую ярость, охватившую Флорестана, который по-прежнему стоял, прислонившись спиной к камину.

Ни герцог, ни Клотильда не обращали на него ни малейшего внимания. Зная, как быстро герцогиня де Люсене принимает решения, он предполагал, что у нее достанет презрения к нему и отваги на то, чтобы тотчас же, прямо в его присутствии, начать открыто кокетничать с юным герцогом де Монбризоном.

Но он был неправ; герцогиня питала к своему кузену почти что материнскую привязанность: ведь он родился чуть ли не у нее на глазах. Однако юный герцог был так красив, он, казалось, был так обрадован любезным и теплым приемом, оказанным ему его знатной кузиной, что ревность или, скорее, гордость приводила Флорестана в отчаяние; сердце его болезненно сжималось, его терзала зависть к Конраду де Монбризону, этому красивому и богатому аристократу, который с таким блеском вступал в жизнь, полную удовольствий, развлечений и пьянящих успехов, в ту самую жизнь, которую он, Флорестан, разочарованный, презираемый, обесчещенный и опозоренный, покидал навсегда.

Виконт де Сен-Реми обладал, если можно так выразиться, мужеством, идущим от головы: в припадке гнева или из тщеславия он мог отважиться на дуэль; но, по природе человек ничтожный и безнадежно испорченный жизнью, он не обладал тем душевным мужеством, которое может преодолеть дурные склонности или, по крайней мере, придает человеку силы избежать позора, добровольно наложив на себя руки.

Яростно негодуя на адское презрение, которое выказывала по отношению к нему герцогиня, полагая, что юный герцог де Монбризон станет его преемником, виконт де Сен-Реми решил потягаться дерзостью с г-жой де Люсене, а если потребует, то и затеять ссору с Конрадом.

Герцогиня, возмущенная наглостью Флорестана, даже не смотрела в его сторону; а юный герцог де Монбризон, с обожанием глядевший на кузину, невольно позабыл о правилах приличия: он даже не поздоровался и не сказал ни слова виконту, с которым был знаком.

Господин де Сен-Реми направился к Конраду, стоявшему к нему спиной, слегка притронулся к его руке и промолвил сухим, полным иронии тоном:

– Добрый вечер, милостивый государь... приношу тысячу извинений, что до сих пор не заметил вашего прихода.

Герцог де Монбризон, понимая, что он и в самом деле поступил неучтиво, стремительно обернулся и сердечно сказал виконту:

– Сударь, я и вправду смущен... Но я позволю себе надеяться, что моя кузина, послужившая невольной причиной моей рассеянности, соизволит простить мне невнимательность, проявленную к вам... и...

– Конрад, – проговорила герцогиня, выведенная из себя наглостью Флорестана, который не только не уходил, но еще и вел себя вызывающе, – Конрад, полноте; не нужно никаких извинений... в них нет необходимости.

Господин де Монбризон, полагая, что герцогиня в шуточной форме упрекает его за слишком формальное извинение, весело сказал, обращаясь к виконту:

– Я не стану настаивать на дальнейших объяснениях, сударь, раз уж моя кузина мне это запрещает... Как видите, ее опека надо мной уже началась.

– И опека эта такой малостью не ограничится, дорогой герцог, уж будьте уверены. И вот в предвидении этого – я уверен, что герцогиня поспешит облечь свое покровительство в нечто более осязаемое, – повторяю, в предвидении этого мне пришлось в голову сделать вам одно предложение...

– Вы хотите сделать мне какое-то предложение, сударь? – спросил Конрад, уже несколько задетый сардоническим тоном Флорестана.

– Именно вам... дело в том, что я через несколько дней уезжаю в княжество Герольштейн с дипломатической миссией, в состав которой я включен... И хотел бы отделаться от своего особняка со всей его обстановкой и с конюшней, которая в полном порядке. Вы же, со своей стороны, должны достойным образом обустроиться... – При этих словах виконт нагло посмотрел на герцогиню де Люсене. – Ведь это было бы весьма пикантно... не правда ли, высокочтимая госпожа герцогиня?

– Я вас что-то плохо понимаю, сударь, – проговорил г-н де Монбризон, удивляясь все больше и больше.

– Я вам скажу, Конрад, почему вы не можете принять предложение, которое вам только что сделали, – сказала Клотильда.

– А почему герцог не может принять мое предложение, высокочтимая госпожа герцогиня?

– Милый мой Конрад, то, что вам предлагают купить, уже продано другим людям... понимаете... так что вас ждут большие неприятности: вас ограбят, как в темном лесу.

Флорестан в ярости кусал губы.

– Берегитесь, сударыня! – воскликнул он.

– Как? Угрозы... здесь... Вы забываетесь, сударь! – крикнул юный герцог.

– Полноте, Конрад, не обращайтесь внимания, – сказала г-жа де Люсене с невозмутимым спокойствием, беря конфету из бонбоньерки. – Человек чести не должен и не может компрометировать себя, имея дело с этим господином. Если он настаивает, я вам сейчас объясню почему.

Готов был разразиться ужасный скандал, но в это время обе створки двери распахнулись, и в гостиную вошел герцог де Люсене, вошел, по своему обыкновению, шумно, стремительно и бурно.

– Как, моя дорогая, вы уже готовы? – спросил он, обращаясь к жене. – Да это чудо какое-то... просто поразительно!.. Добрый вечер, Сен-Реми, добрый вечер, Конрад... Ах, перед вами несчастнейший человек... другими словами, я не сплю, я не ем, я до такой степени отупел, что и передать не могу... бедняга д'Арвиль, какой ужасный случай!

И герцог де Люсене плюхнулся на кушетку с подлокотниками и далеко отшвырнул свою шляпу с жестом отчаяния; затем, положив левую ногу на колено правой, он, по своему обыкновению, ухватился правой рукой за носок левого башмака, продолжая издавать горестные возгласы.

Волнение Конрада и Флорестана понемногу улеглось, так что г-н де Люсене, кстати сказать, человек на редкость рассеянный и ненаблюдательный, ничего не заметил.

Герцогиня де Люсене, отнюдь не от замешательства – она была из тех женщин, которых, как известно читателю, нельзя никогда и ничем смутить, – но потому, что присутствие Флорестана становилось для нее все более неприятным и нестерпимым, обратилась к мужу:

– Мы можем ехать, когда вам будет угодно, я хочу представить Конрада госпоже де Сен-валь.

– Нет, нет, нет! – завопил герцог, выпуская свою ногу из руки и хватая одну из подушек, лежавших на кушетке.

Он изо всех сил ударил по злосчастной подушке кулаками, к великому изумлению Клотильды, которая от неожиданного вопля мужа даже немного подскочила в кресле.

– Господи, милостивый государь, что с вами? – спросила она. – Вы меня смертельно напугали.

– Нет! – повторил герцог, отпихивая подушку; затем он резко вскочил с места и заходил по гостиной, размахивая руками. – Я не могу, никак не могу смириться с мыслью, что этот бедный д'Арвиль умер. А вы, Сен-Реми?

– Случай и в самом деле ужасный! – согласился виконт, который, внутренне горя ненавистью и гневом, тщетно пытался поймать взгляд юного герцога де Монбризона.

Однако Конрад после последних слов своей кузины, не из недостатка мужества, но из гордости упорно не хотел встречаться глазами с человеком, столь страшно опозоренным.

– Помилосердствуйте, милостивый государь, – сказала герцогиня, обращаясь к мужу и вставая с кресла, – не стоит сожалеть о господине д'Арвиле столь шумно, а главное, столь причудливо... Прошу вас, позвоните и вызовите сюда моих слуг.

– Нет, вы только подумайте, – проговорил г-н де Люсене, ухватившись за шнурок сонетки, – ведь еще три дня тому назад он был совершенно здоров и полон жизни... а сегодня, что осталось от него сегодня?! Ничего... ничего!!! ничего!!!

Произнося три последних слова, герцог с такой силой дергал за шнурок сонетки, продолжая жестикулировать рукой, что тот оторвался от пружины, упал на канделябр, где горели свечи, и опрокинул две из них; при этом одна из свечей упала на камин, разбив прелестную небольшую чашку из старинного севрского фарфора, а другая покатила по лежавшему перед камином ковру из горносталя: вспыхнувшее пламя поспешно затоптал ногою Конрад.

В ту же минуту два камердинера, встревоженные неистовым звоном, торопливо вбежали в гостиную и увидели, что герцог де Люсене так и сидит, держа в руке шнурок от сонетки, а герцогиня звонко хохочет, глядя на стремительный полет свечей, а герцог де Монбризон вторит ее веселому смеху.

Один только виконт де Сен-Реми не смеялся.

Герцог де Люсене, привыкший к такого рода происшествиям, причиной коих бывал он сам, сохранял полную невозмутимость; он швырнул шнурок от сонетки одному из слуг и сказал:

– Заложить карету герцогини.

Перестав смеяться, Клотильда заметила:

– Право же, сударь, только вы одни способны вызвать смех по столь прискорбному поводу.

– Прискорбному!.. – воскликнул герцог. – Скажите лучше, ужасному... скажите лучше, устрашающему! Знаете, со вчерашнего дня я только и думаю, сколько есть людей, даже из числа моих родственников, которые, по моему мнению, могли бы с большим основанием умереть вместо этого бедняги д'Арвиля. Например, мой племянник д'Анберваль, которого трудно вынести из-за его ужасного заикания; или же, того лучше, ваша тетушка Меренвиль, которая нам все уши прожужжала жалобами на свои нервы, на свою мигрень, которая при этом

каждодневно, не в силах дожидаться обеда, пожирает целый котелок паштета, как какая-нибудь привратница! Вы разве так уж сильно привязаны к вашей тетушке Меренвилль?

– Послушайте, милостивый государь, да вы просто с ума сходите! – воскликнула герцогиня, пожимая плечами.

– Но ведь это же суцая правда, – настаивал герцог, – пусть уж лучше умрут два десятка безразличных вам людей вместо одного вашего друга... Вы согласны со мной, Сен-Реми?

– Безусловно.

– Помните ту старинную историю о портном? Ты знаешь эту историю о портном, Конрад?

– Нет, не знаю, кузен.

– Ты тотчас же поймешь, почему я о ней вспомнил. Некого портного осудили на казнь через повешение; во всем городке больше портных не было. Как поступают горожане? Они пришли к судье и сказали ему: «Господин судья, у нас в городе только один портной, а башмачников трое; если вам все равно, повесьте лучше одного из них вместо портного, нам хватит и двух башмачников». Ты понимаешь смысл этой истории, Конрад?

– Понимаю, кузен.

– А вы, Сен-Реми?

– Я тоже.

– Карета госпожи герцогини! – возгласил один из слуг.

– Ах так! Но почему вы не надели ваши бриллианты? – неожиданно спросил у жены герцог де Люсене. – К этому платью они бы очень подошли!

Виконт де Сен-Реми вздрогнул.

– Ведь мы так редко выезжаем в свет вместе, – продолжал герцог де Люсене, – и вы могли бы доставить мне удовольствие, надев их. До чего они прекрасны, эти бриллианты... Вы видели бриллианты герцогини, Сен-Реми?

– Да... господин виконт хорошо знаком с моими бриллиантами, – ответила Клотильда. Потом она прибавила: – Подайте мне руку, Конрад...

Господин де Люсене последовал за герцогиней вместе с виконтом де Сен-Реми, который едва сдерживал гнев.

– А разве вы не поедете с нами к Сенвалям, виконт? – спросил герцог.

– Нет... это невозможно, – поспешно ответил тот.

– Послушайте, Сен-Реми, госпожа де Сенваль – еще одна особа... да что я говорю, одна... их там двое... и я охотно бы пожертвовал обоими, ибо ее муж тоже внесен в мой список.

– Какой список?

– Список людей, чья смерть была бы для меня совершенно безразлична, если бы д'Арвиль остался с нами.

В первой гостиной герцог де Монбризон помогал герцогине надеть ее длинную накидку; обратившись к нему, г-н де Люсене сказал:

– Раз уж ты едешь с нами, Конрад... пусть твой экипаж следует за нашим... разве только вы все же поедете к Сенвалям, Сен-Реми, тогда я сяду вместе с вами... и расскажу вам еще одну славную историю, она ничуть не хуже истории о портном.

– Благодарю вас, герцог, – сухо сказал виконт де Сен-Реми, – но сопровождать вас на прием я не могу.

– В таком случае, до свидания, мой милый... А вы что, поссорились с моей женой? Смотрите-ка, она садится в экипаж, даже не простившись с вами.

И в самом деле, карета герцогини подкатила к крыльцу, и молодая женщина с легкостью поднялась в нее.

– А вы, кузен? – спросил Конрад, ожидавший из учтивости, пока герцог сядет в карету.

– Садись же! Садись! – сказал герцог де Люсене, задержавшись на крыльце, – он любовался красивыми лошадьми, запряженными в экипаж виконта.

– Это и есть ваши гнедые, Сен-Реми?

– Да.

– А до чего живописен ваш толстый Эдвардс... Какой у него осанистый вид!.. Поистине настоящий кучер из благородного дома!.. Вы только поглядите, как ловко он держит вожжи в руке!.. Надо отдать вам должное, виконт, я бы сказал: «Один только этот чертов Сен-Реми умудряется обладать всем самым лучшим».

– Госпожа де Люсене и ее кузен ждут вас, дорогой герцог, – с горечью сказал виконт де Сен-Реми.

– Верно, черт побери... я веду себя как грубиян!.. До свидания, Сен-Реми... Ах, совсем забыл, – проговорил герцог де Люсене, останавливаясь посреди крыльца, – если у вас не будет более интересного занятия, приезжайте к нам завтра обедать: лорд Дадли прислал мне из Шотландии куропаток, вернее, тетеревов. Представляете, это такие громадины... Условились, не правда ли?

И герцог присоединился наконец к своей жене и Конраду.

Виконт де Сен-Реми остался на крыльце один, провожая взглядом отъехавший экипаж.

Тем временем подъехал его собственный кабриолет.

Он поднялся в экипаж, бросив взгляд, полный гнева, ненависти и отчаяния, на этот особняк, куда он так часто входил, точно хозяин, и откуда его с позором изгнали.

– Домой! – резко бросил он.

– В особняк! – крикнул выездной лакей Эдвардсу, захлопывая дверцу кабриолета...

Читатель понимает, какие горестные и унылые мысли одолевали виконта де Сен-Реми по дороге домой.

Когда экипаж подъехал к дому, Буайе, поджидавший хозяина в крытой галерее, сказал:

– Господин граф уже наверху, он ожидает там господина виконта.

– Превосходно...

– Там также находится тот человек, которому господин виконт велел прийти к десяти часам вечера; это господин Пти-Жан...

– Хорошо, хорошо.

«Господи, ну и вечерок выдался!» – подумал Флорестан, поднимаясь на второй этаж, где его ожидал отец; он застал графа в гостиной, где происходила их утренняя беседа.

– Тысяча извинений, отец! Простите, что я не попал домой до вашего прихода... но я...

– Человек, в чьих руках находится подложный вексель, здесь? – спросил старик, обрывая сына.

– Да, отец, он ждет внизу.

– Пусть поднимется сюда...

Флорестан позвонил в колокольчик; на пороге показался Буайе.

– Попросите господина Пти-Жана подняться сюда.

– Слушаюсь, господин виконт, – сказал Буайе и вышел из кабинета.

– Как вы добры, отец, что не забыли о своем обещании.

– Я всегда помню о том, что обещал...

– Как несказанно я вам благодарен!.. Не знаю, как я смогу выказать эту...

– Я не хотел, чтобы мое имя было обещено, – прервал его граф. – И оно не будет обещено...

– Да, не будет!.. Да, оно не будет обещено, я клянусь вам, отец...

Граф посмотрел на сына со странным выражением лица и повторил:

– Да, мое имя не будет обещено!

Потом он прибавил с сардонической усмешкой:

– А вы почему в этом так уверены? Разве вы прорицатель?

– Нет, но в своей душе я читаю твердую решимость в этом.

Отец Флорестана ничего не ответил.

Он ходил из угла в угол гостиной, сунув обе руки в карманы своего длинного редингота.

Он был очень бледен.

– Господин Пти-Жан, – доложил Буайе, вводя в комнату человека с хитрым, гнусным и корыстным лицом.

– Где этот вексель? – спросил граф.

– Вот он, сударь, – ответил Пти-Жан (подставное лицо нотариуса Жака Феррана), протягивая вексель графу.

– Тот ли это вексель? – спросил старик у своего сына, показывая ему документ.

Кинув взгляд на вексель, Флорестан сказал:

– Да, тот самый, отец.

Граф вытащил из кармана своего камзола двадцать пять тысяч франков казначейскими билетами, протянул их сыну и приказал:

– Уплатите!

Флорестан вручил деньги Пти-Жану и взял у него из рук вексель со вздохом облегчения.

Пти-Жан тщательно вложил банковые билеты в потрепанный бумажник и откланялся.

Граф де Сен-Реми вышел вместе с ним из гостиной, а Флорестан тем временем старательно разрывал вексель в клочки.

– По крайней мере, у меня остались еще двадцать пять тысяч франков от Клотильды, – проговорил он. – Если ничто не откроется... эти деньги – пусть слабое, но все-таки утешение. Но, подумать только, как она обращалась со мной!.. Да, кстати, что такого мог сказать мой отец Пти-Жану?

Скрип ключа в двери заставил виконта вздрогнуть.

Его отец возвратился в гостиную.

Теперь он был еще бледнее, чем прежде.

– Мне показалось, отец, что кто-то запер на ключ дверь в мой кабинет?

– Да, это я запер ее.

– Вы, отец? А зачем? – с изумлением спросил Флорестан.

– Я вам сейчас скажу.

Граф уселся в кресло, передвинув его так, чтобы сын не мог уйти по потайной лестнице, что вела на первый этаж.

Не на шутку встревоженный, Флорестан обратил вдруг внимание на злое выражение лица графа де Сен-Реми и теперь с опаской следил за каждым его движением и жестом.

Он не мог бы объяснить, в чем дело, но испытывал смутный страх.

– Нынешним утром, когда вы меня увидели, у вас мелькнула одна-единственная мысль: «Отец ни за что не позволит опозорить свое имя, он заплатит... если мне удастся ловко притвориться и убедить его в моем мнимом раскаянии».

– Ах, неужели вы можете подумать...

– Не прерывайте меня... Но я не попался на удочку; в вас нет ни стыда, ни сожаления, ни угрызений совести, вы порочны до глубины души, у вас в жизни не было ни проблеска порядочности; вы не начали воровать, пока вы обладали средствами для удовлетворения ваших потребностей, это именуют честностью богачей вашего пошиба; потом на свет явились бестактные поступки, вслед за ними – поступки низкие и, наконец, пришел черед преступлению: вы совершили подлог. Но это только начальная пора вашей жизни... и она может показаться прекрасной и чистой по сравнению с тем образом жизни, какой вас ожидает впереди...

– Да, так случится, если я не изменю своего поведения, согласен; но я изменю его, клянусь вам в этом, отец.

– Вы ни в чем не изменитесь...

– Однако...

– Повторяю: вы ни в чем не изменитесь... Изгнанный из того круга, где вы до сих пор вращались, вы очень скоро станете преступником, подобно тем мерзавцам, среди которых вы непременно окажетесь: так что вы непременно станете вором... а если вам это понадобится, то и убийцей. Вот что вас ждет впереди.

– Я стану убийцей?! Я?!

– Да, вы, ибо вы подлец и трус!

– Я дрался на нескольких поединках и при этом доказал...

– А я говорю вам, что вы трус! Вы предпочли бесчестие смерти! И наступит такой день, когда вы для того, чтобы ваши новые преступления не выплыли на свет, пойдете на то, чтобы отнять жизнь у другого человека. Но этого не должно произойти, я не желаю, чтоб это могло произойти. Я появился в самое время, чтобы спасти, по крайней мере, свое имя от публичного позора. С этим пора покончить.

– Что это значит, отец... покончить? Что вы этим хотите сказать?! – воскликнул Флорестан, которого все больше и больше пугало грозное выражение лица графа и его все возраставшая бледность.

Внезапно в дверь кабинета громко постучали; Флорестан направился было в кабинет, чтобы отпереть дверь и тем самым положить конец разговору с отцом, который приводил его в ужас, но граф железной рукой схватил его за плечо и удержал на месте.

– Кто там стучит? – спросил граф.

– Именем закона, отворите!.. Отворите!.. – раздался в ответ чей-то голос.

– Стало быть, это был еще не последний подложный вексель? – негромко спросил г-н де Сен-Реми, грозно взглянув на сына.

– Это был последний... клянусь вам, отец, – ответил Флорестан, тщетно стараясь освободиться от мощной руки графа.

– Именем закона... Отворите!.. – снова послышался голос.

– Что вам угодно? – спросил граф.

– Я комиссар полиции; я пришел произвести обыск в доме виконта де Сен-Реми, которого обвиняют в краже бриллиантов... У господина Бодуэна, ювелира, есть веские доказательства. Если вы не отопрете добром, сударь... я вынужден буду распорядиться взломать дверь.

– Уже вор! Значит, я не ошибся, – едва слышно проговорил граф. – Я пришел, чтобы убить вас... но слишком поздно.

– Убить меня?! – вскричал виконт.

– Вы достаточно позорили мое имя; пора с этим покончить; у меня с собой два пистолета... либо вы сами пустите себе пулю в лоб... либо я сам вас застрелю и скажу, что вы покончили с собой в отчаянии, дабы спастись от позора.

И граф с пугающим хладнокровием достал свободной рукой пистолет из своего кармана и протянул его сыну, сказав:

– Довольно! Если вы не трус, пора покончить счеты с жизнью!

После новых и столь же тщетных попыток вырваться из рук графа его сын в ужасе отпрянул и смертельно побледнел.

По ужасному и неумолимому взгляду отца он понял, что рассчитывать на его жалость не приходится.

– Отец! – в отчаянии воскликнул он.

– Вам надобно умереть!

– Я глубоко раскаиваюсь в содеянном!

– Слишком поздно!.. Вы слышите?! Они уже ломаются в дверь!

– Я искуплю свои проступки!

– Они сейчас войдут! Стало быть, мне придется самому вас убить?

– Пощадите меня!

– Дверь уже поддается!.. Ты сам этого хотел!..

И граф приставил дуло своего пистолета к груди Флорестана.

Шум, доносившийся в гостиную, и в самом деле говорил о том, что дверь в кабинет продержится недолго.

Виконт понял, что он погиб.

Но внезапно отчаянное решение промелькнуло у него в голове; он больше не вырывался из рук отца и сказал ему с показной твердостью и решимостью:

– Вы правы, отец... дайте мне ваш пистолет. Я достаточно обесчестил свое имя, жизнь, которая ждет меня впереди, действительно ужасна, нет смысла бороться за нее. Давайте пистолет. И вы увидите, трус ли я или нет. – Он протянул руку за пистолетом. – Но скажите, по крайней мере, хоть одно слово, одно слово утешения, жалости, скажите мне его на прощанье, – прибавил Флорестан.

Дрожащие губы, бледность, искаженное отчаянием лицо – все выдавало ужасное волнение, владевшее в эту минуту виконтом.

«А что, если он все-таки мой сын?! – со страхом подумал граф, не решаясь передать пистолет Флорестану. – Но, если это мой сын, я тем меньше должен колебаться перед тем, как принести его в жертву».

Дверь в кабинет теперь непрерывно трещала, не оставалось сомнений, что она вот-вот будет взломана.

– Отец... они сейчас войдут... О, теперь я наконец понимаю, что смерть для меня – благодеяние... Спасибо... спасибо... но протяните мне хотя бы руку и простите меня.

Несмотря на всю свою твердость, граф невольно содрогнулся и сказал взволнованным голосом:

– Я вас прощаю.

– Отец... дверь сейчас распахнется... ступайте к ним навстречу... пусть, по крайней мере, на вас не падет подозрение... А потом если они войдут сюда, то помешают мне покончить с собой... Прощайте...

В соседней комнате слышались шаги нескольких человек.

Флорестан приставил к груди дуло пистолета.

Выстрел раздался в то самое мгновение, когда граф, стремясь избежать ужасного зрелища, отвернулся и бросился вон из гостиной; обе половины портьеры сошлись за ним.

При звуке выстрела, при виде смертельно бледного и совершенно потерянного графа, полицейский комиссар замер на месте и жестом запретил своим помощникам переступить порог гостиной.

Предупрежденный Буайе о том, что виконт заперся в кабинете с отцом, полицейский чиновник все понял и с уважением отнесся к огромному горю старика.

– Умер!!! – с болью воскликнул граф, закрывая лицо руками. – Умер!!! – повторил он в изнеможении. – Но это было необходимо, лучше смерть, чем позор... И все-таки это ужасно!

– Милостивый государь, – печально произнес полицейский комиссар после короткого молчания, – избавьте самого себя от горестного зрелища, покиньте этот злополучный дом... Сейчас мне предстоит выполнить уже иной долг, еще более тягостный, чем тот, что привел меня сюда.

– Вы правы, сударь, – ответил граф де Сен-Реми. – Что касается человека, ставшего жертвой этого мошенничества, передайте ему, пожалуйста, чтобы он обратился к господину Дюпону, банкиру.

– Его контора на улице Ришелье?.. Он всем хорошо известен, – ответил полицейский комиссар.

– В какую сумму оцениваются похищенные бриллианты?

– Они стоили около тридцати тысяч франков, милостивый государь; человек, их купивший и обнаруживший, что они украдены, заплатил эту сумму... вашему сыну.

– Столько я могу еще заплатить. Пусть ювелир придет послезавтра к моему банкиру, я с ним все улажу.

Полицейский комиссар поклонился.

Граф вышел из кабинета.

После его ухода полицейский чиновник, глубоко потрясенный этим неожиданным происшествием, медленно направился в гостиную, вход в которую был закрыт портьерой.

С волнением он приподнял ее.



Выстрел раздался в то самое мгновение, когда граф, стремясь избежать ужасного зрелища, отвернулся и бросился вон из гостиной...

– Никого!.. – воскликнул он, опешив; внимательно оглядев гостиную, он не нашел в ней ни малейших следов трагического происшествия, которое вроде бы только что случилось. Затем, обнаружив небольшую дверь, искусно скрытую обоями, он кинулся к ней.

Дверь была заперта снаружи – со стороны потайной лестницы.

– Ну и хитрец!.. Именно через эту дверь он сбежал! – с досадой воскликнул полицейский.

Виконт в присутствии своего отца приставил пистолет прямо к сердцу, но затем весьма ловко чуть-чуть сдвинул его, и пуля пролетела под мышкой; после чего он, не теряя времени, исчез.

Полицейские старательно, самым тщательным образом обыскали весь дом, но Флорестана нигде не обнаружили.

Пока его отец и полицейский комиссар разговаривали друг с другом, виконт быстро сбежал по лестнице, прошел через будуар и теплицу, а затем по пустынной улице добежал до Елисейских полей.

Зрелище столь низкой развращенности человека, живущего среди роскоши, – зрелище весьма прискорбное.

Мы это знаем.

Однако из-за отсутствия разумных и прочных устоев богатым классам также роковым образом присущи свои беды, свои пороки и свои преступления.

На каждом шагу мы встречаемся с таким удручающим явлением, как безрассудная и бесплодная расточительность, какую мы только что описали, и она непременно ведет в конечном счете к разорению, утрате уважения окружающих, к низости и позору.

Да, повторяем, это жалкое и вместе с тем зловещее зрелище, его можно сравнить разве что со зрелищем цветущей нивы, которую бессмысленно опустошила стая хищных зверей...

Спору нет, наследство, частная собственность священны и неприкосновенны, и такими они должны оставаться.

Богатство, накопленное человеком или полученное им в наследство, должно невозбранно принадлежать ему, даже если оно своим блеском ослепляет глаза людей бедных и страждущих.

Еще долго будет существовать страшное несоответствие, которое существует ныне между положением миллионера Сен-Реми и ремесленника Мореля.

Но именно потому, что такое неизбежное несоответствие освящено и охраняется законом, те, кто обладает огромным богатством, обязаны пользоваться им, следуя правилам нравственности, как и те, кто обладает только честностью, смирением, мужеством, как и те, кто ревностно трудится.

С точки зрения здравого смысла, прав человека и, разумеется, в интересах всего общества крупное состояние должно стать неким полученным в наследство денежным вкладом, который доверен разумным, умелым, сильным и великодушным людям, и они должны одновременно приумножать и расходовать свое состояние таким образом, чтобы все то, что, по счастью, окажется согрето его яркими и благотворными лучами, оживало, становилось лучше и плодоносило.

Порою так и бывает, но лишь в редких случаях.

Сколько молодых людей, подобно виконту де Сен-Реми, становятся в двадцать лет обладателями весьма внушительного состояния либо поместья, и они безрассудно растрачивают свое состояние, предаваясь безделью, становясь рабами скуки или порока (а порой и низости), только потому, что не знают, как лучше употребить свое богатство с пользой и для самих себя, и для окружающих!

Другие богачи, напуганные непрочностью благ земных, самым отвратительным образом копят деньги.

Наконец, иные, зная, что деньги, не пущенные в оборот, постепенно тают, предаются безнравственным и азартным биржевым спекуляциям, которым власти споспешествуют и покровительствуют; при этом спекуляторы неизбежно становятся либо плутами, либо жертвами обмана.

А разве может быть иначе?

Кто наставляет неопытную молодежь? Кто учит ее хотя бы начаткам бережливости индивидуальной, которая в конечном счете оборачивается бережливостью всего общества?

Никто не учит.

Богач со своим богатством, как и бедняк со своей бедностью, живет в нашем обществе, но предоставлен самому себе.

Общество не заботит ни избыток средств у одного, ни нужда другого.

Никто не думает о том, что нравственность необходима богачу ничуть не меньше, чем бедняку.

Но разве не власть имущие должны выполнять великую и благородную задачу?

Проникшись наконец искренним сочувствием и жалостью к неимущим, ко все возрастающей нужде тружеников, которые пока еще сохраняют покорность, уничтожив губительную конкуренцию между всеми и каждым, приступив наконец к решению неотложной проблемы упорядочения условий труда, власть имущие подадут тем самым благодетельный пример сочетания интересов труда и капитала.

Но этот союз труда и капитала должен быть честным, разумным и справедливым, он должен обеспечить благосостояние ремесленника, не нанося при этом ущерба имуществу богача... и тогда вновь созданные узы доброжелательства и благодарности скрепят этот союз и навсегда сохранят мир и спокойствие в государстве...

Какие грандиозные последствия ожидают нас, если все это воплотится в жизнь!

Кто же из богачей станет тогда колебаться в выборе между бесчестными и губительными возможностями биржевой спекуляции, мрачными утехами скопидомства, безрассудным тщеславием разорительного мотовства – и разумным использованием своего богатства, одновременно плодотворным и благодетельным, в результате чего распространится благосостояние, укрепится нравственность, воцарится счастье и радость во многих семьях.

Глава X

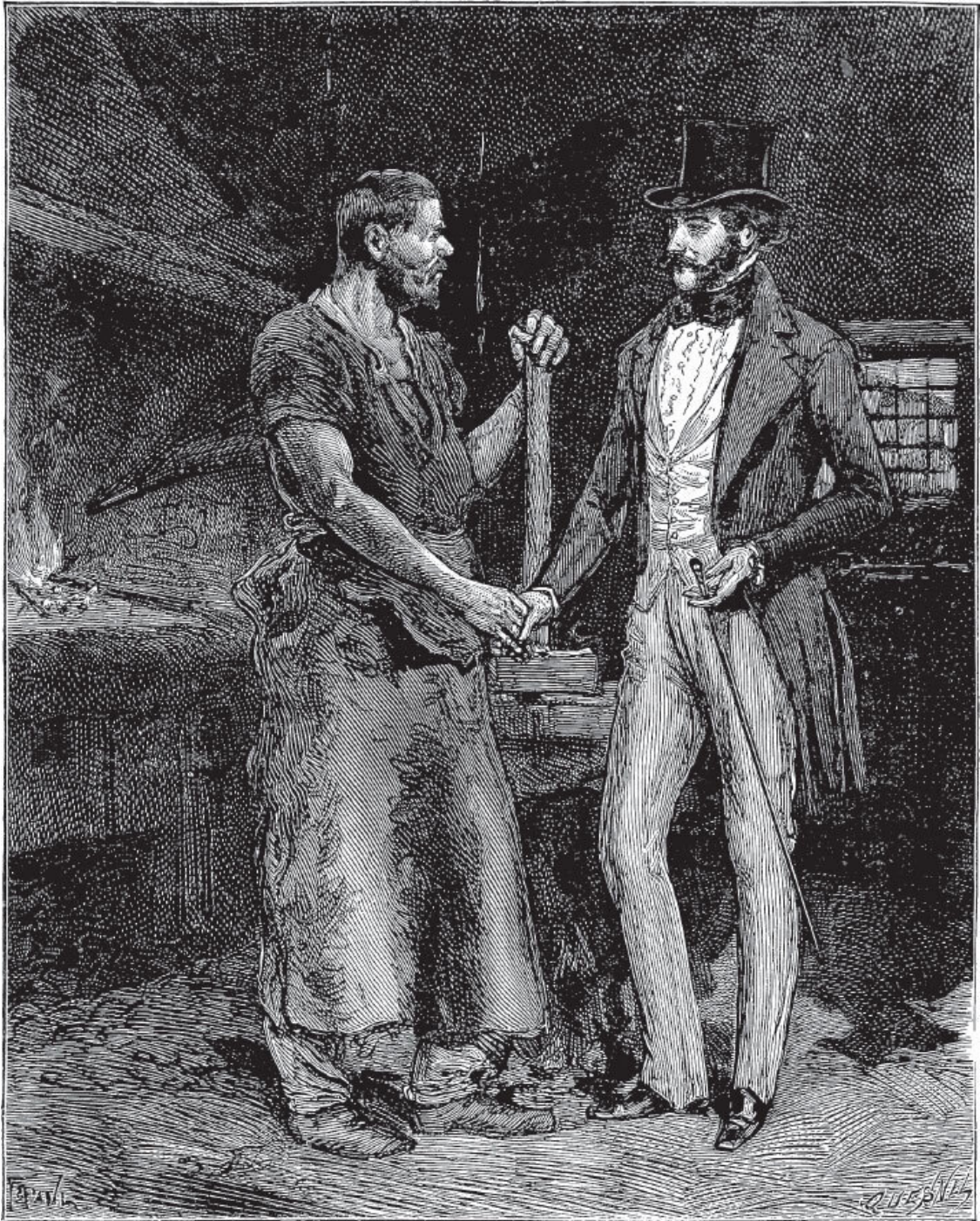
Прощание

...Поверил – увидал – и плачу.
Вордсворт

На следующий день после описанного нами вечера, когда граф де Сен-Реми был так низко обманут своим сыном, в тюрьме Сен-Лазар, в час отдыха заключенных, происходила трогательная сцена.

В тот день, когда узниц вывели на прогулку, Лилия-Мария сидела на скамейке возле водоема во внутреннем дворе тюрьмы: скамейка эта уже получила название Скамьи Певуньи, и по молчаливому уговору другие заключенные не занимали это место, где Певунья любила сидеть, ибо благотворное влияние молодой девушки за последние дни еще больше возросло.

Певунья любила эту скамью, стоявшую возле самого водоема, ибо невзрачный бархатистый мох, покрывавший закраины этого водоема, напоминал ей зелень полей, а прозрачная вода, наполнявшая его, напоминала ей небольшую речку, что протекала в Букевале.



Этот союз труда и капитала должен быть честным, разумным и справедливым...

Для печального взгляда заключенного пучок травы уже олицетворяет луг, а один цветок – целую клумбу...

Полностью поверив ласковым обещаниям г-жи д'Арвиль, Лилия-Мария вот уже два дня ожидала, что ее освободят из тюрьмы.

Хотя у нее не было никаких оснований для тревоги, но ее выход из тюрьмы почему-то задерживался, и молодая девушка, привыкшая к постоянным невзгодам, не решалась поверить, что она скоро будет на свободе...

После того как Лилия-Мария вновь оказалась в обществе этих падших созданий, чья речь ежеминутно оживляла в ее душе неискоренимое воспоминание о давнем позоре, свойственная ей грусть стала еще более тягостной.

Но дело было не только в этом.

Была еще одна причина, которая рождала в ней смятение и горькие размышления, почти пугала ее: то была страстная экзальтация, сопровождавшая ее признательность Родольфу.

Странная вещь! Молодая девушка как будто сознавала всю глубину своего падения именно потому, что сознание это напоминало ей о том, что отделяло ее от этого человека, чье величие казалось ей почти нечеловеческим, человека, обладавшего одновременно необычайной добротой... и могуществом, пугавшим злодеев...

Несмотря на то, что, боготворя Родольфа, Лилия-Мария вместе с тем питала к нему глубочайшее уважение, она иногда, увь, со страхом думала, не принимает ли ее обожание характер любви, столь же тайной, сколь и глубокой, столь же целомудренной, сколь и тайной, столь же безнадёжной, сколь и целомудренной!

Бедная девочка с особенной силой почувствовала, что в ее сердце поселилось столь огорчившее ее чувство во время разговора с г-жой д'Арвиль, которая сама питала к Родольфу сильную страсть, о чем он не подозревал.

После ухода маркизы, после ее столь обнадеживавших обещаний Лилия-Мария, казалось бы, должна была предаваться радости, думая о скорой встрече со своими друзьями из Букеваля, о том, что ей предстоит увидеться вскоре и с Родольфом...

Но нет, она не испытывала радости.

Ее сердце болезненно сжималось. К ней все время возвращались воспоминания о резких словах, о высокомерных испытующих взглядах маркизы д'Арвиль, которыми она встретила восторг, охвативший несчастную узницу, когда та заговорила о своем благодетеле.

Словно по какому-то необъяснимому наитию Певунья частично проникла в тайну г-жи д'Арвиль.

«Моя восторженная благодарность г-ну Родольфу задела эту молодую даму, такую красивую и занимающую такое высокое положение в обществе, – говорила себе Певунья. – Теперь мне понятна горечь, прозвучавшая в ее словах: они говорили о ревности, смешанной с презрением ко мне...

Подумать только!.. Она ревнует ко мне! Стало быть, она его любит... но, значит, и я тоже его люблю?.. Выходит, мое сердце невольно сыграло со мной предательскую шутку?..

Мне любить его... мне... навеки опозоренной, неблагодарной и несчастной... о, если бы это и впрямь случилось... лучше смерть, во много раз лучше смерть...»

Поспешим сказать, что бедное дитя, всячески терзавшее себя, преувеличивало характер своего чувства, которое ей казалось любовью.

К ее глубочайшей признательности Родольфу присоединялось невольное восхищение его обаянием, его красотой, его силой, всеми теми качествами, что выделяли его среди остальных людей; и невозможно представить себе что-либо более чистое и возвышенное, чем ее восторженное преклонение перед Родольфом, но оно оборачивалось сильным и страстным чувством, ибо физическая красота всегда влечет к себе.

И, наконец, голос крови, чье значение столь часто отрицают, голос крови – немой, неведомый или нераспознанный – порою начинает властно звучать в душе человека; порывы страстной нежности, которая влекла Лилию-Марию к Родольфу и которая так пугала ее, ибо, не зная о том, что он ее отец, она неверно понимала ее причины, повторяем, эти порывы нежности были следствием таинственной симпатии родственных натур; порывы эти столь же необъяснимы, но и столь же явственны, как фамильное сходство...

Одним словом, если бы Лилия-Мария узнала, что Родольф ее отец, она легко объяснила бы самой себе то влечение к нему, которое она испытывала; и тогда бы, осведомленная обо всем, она без всяких угрызений совести любовалась бы красотой своего отца.

Вот чем следует объяснить угнетенное состояние бедной девочки, хотя она, казалось бы, должна была радоваться, ожидая, что вот-вот выйдет на свободу из тюрьмы, как ей пообещала г-жа д'Арвиль.

Итак, Лилия-Мария, печальная и задумчивая, сидела на скамье возле водоема, машинально наблюдая за веселой игрой нескольких бесстрашных птичек, которые то и дело садились на каменные закраины водоема. Она ненадолго прервала свою работу: юная девушка обшивала каймой детскую распашонку.

Надо ли говорить читателю, что распашонка эта составляла часть приданого для новорожденного, которое готовили Мон-Сен-Жан ее подруги по заключению: они сделали это после трогательного призыва Лилии-Марии.

Несчастливая дурнушка, которой покровительствовала Певунья, сидела у ног юной девушки; трудясь над крошечным чепчиком, будущая мать время от времени бросала на свою покровительницу взгляд, исполненный одновременно благодарности, робости и преданности... так смотрит верный пес на своего хозяина.

Красота, прелесть и очаровательная мягкость Лилии-Марии не только вызывали глубокое уважение у этой униженной женщины, но и привлекали ее.

Всегда есть нечто святое в душевных порывах даже самого опустившегося человека, когда в сердце его впервые пробуждается признательность; а ведь до сих пор никто еще не вызывал у Мон-Сен-Жан столь благоговейного чувства пылкой благодарности, чувства, совершенно не знакомого ей.

Прошло несколько минут, Лилия-Мария слегка вздрогнула, вытерла слезу и снова усердно принялась за работу.

– Стало быть, вы даже в час отдыха не хотите прекратить работу, мой добрый ангел-хранитель! – сказала Мон-Сен-Жан Певунье.

– Но ведь я не дала денег на покупку приданого для ребенка, потому я и должна внести свою долю трудом... – ответила молодая девушка.

– Вашу долю! Господи, твоя воля... Но без вас вместо этого доброго полотна, вместо этой теплой фланели мне пришлось бы закутывать моего малыша в грязные лохмотья, что валяются во дворе... Я очень благодарна моим товаркам, они были так добры ко мне... это правда... но вы! О, вы!.. Как мне все вам высказать? – прибавила несчастная женщина, подбирая слова и сию минуту лучше выразить свою мысль. – Пойдите, – вдруг сказала она, – видите, вон солнце... Не правда ли, вон солнце...

– Да, Мон-Сен-Жан, говорите, я вас слушаю, – ответила Лилия-Мария, наклоняя свою очаровательную головку к безобразному лицу своей собеседницы.

– Господи боже... Да вы станете смеяться надо мной, – с грустью продолжала Мон-Сен-Жан, – я хочу вам лучше все сказать... и не знаю как...

– Все равно говорите, говорите.

– У вас такой добрый, такой ангельский взгляд! – проговорила несчастная узница в каком-то восторге. – Он придает мне смелости... Да, у вас такие добрые глаза... Знаете, я все же попробую сказать, что хотела; вон солнце, не так ли? Оно так славно светит и греет, от этого в тюрьме становится веселее, на него так приятно смотреть и чувствовать его ласковые лучи, правда?

– Конечно...

– Но вот что я думаю... солнце... оно ведь не само появилось на небе, и если я благодарна ему, то я еще больше должна быть благодарна...

– Тому, кто его создал, не правда ли, Мон-Сен-Жан?.. Вы совершенно правы... Ему мы должны молиться, боготворить его... Он – это Бог.

– Все так... об этом-то я и думаю! – с радостью воскликнула несчастная. – Все так: я должна благодарить своих товарок, но вам я должна молиться, вас я должна боготворить, Певунья, потому как вы сделали их добрыми ко мне, а ведь раньше-то они были злые.

– Нет, благодарить надо Бога, а не меня, Мон-Сен-Жан.

– Нет, нет... вас, вас надо благодарить... я это вижу... Вы были ко мне добры, а уж потом, с вашей помощью, стали добры ко мне и другие.

– Но если я так добра, как вы говорите, Мон-Сен-Жан, то ведь такой меня сделал Господь Бог, стало быть, его-то и надо благодарить.

– Ах, да, конечно... может, и так... коли вы так говорите, – нерешительно произнесла несчастная узница. – Если вам это приятно... пусть так и будет... в добрый час...

– Да, милая моя Мон-Сен-Жан... молитесь ему почаще... Это будет самым лучшим доказательством, что вы меня хоть немного любите...

– Люблю ли я вас, Певунья! Боже мой! Боже мой!!! Но разве вы не помните, что вы говорили другим арестанткам, которые хотели меня избить? «Ведь вы не только ее бьете... вы бьете также и ее ребенка...» Так вот!.. То же самое и я скажу: я люблю вас не только за себя, я люблю вас также за моего ребенка...

– Спасибо, большое спасибо, Мон-Сен-Жан, мне доставляют радость ваши слова.

И Лилия-Мария взволнованно протянула руку своей собеседнице.

– Какая у вас красивая маленькая ручка, прямо как у феи! До чего она беленькая, до чего крошечная! – воскликнула Мон-Сен-Жан, попятившись; она как будто боялась прикоснуться своими красными и не слишком чистыми руками к этой прелестной руке.

Тем не менее, немного поколебавшись, она почтительно прикоснулась губами к тонким пальчикам Лилии-Марии; затем, внезапно опустившись на колени, она принялась пристально разглядывать ее с глубоким, сосредоточенным вниманием.

– Подойдите ближе и сядьте сюда... рядом со мною, – сказала ей Певунья.

– Ох нет, даже не просите... ни за что... никогда...

– Но почему?

– Дисциплина и уважение, как в свое время говаривал мой бравый Мон-Сен-Жан: солдаты сидят отдельно, и офицеры отдельно, каждый со своей ровней.

– Да вы с ума сошли... Между нами нет никакой разницы...

– Никакой разницы... Господи, твоя воля! И вы говорите такое, когда я своими глазами вижу, какая вы есть, вы ведь красивы, как королева; послушайте, ну что вам мешает?.. Позвольте уж мне остаться на коленях, мне так хочется насмотреться на вас, я буду смотреть на вас, как все это время... Конечно... как знать? Хотя я такая некрасивая, настоящее страшное лицо, может, мой ребенок будет похож на вас... Говорят, иногда, когда долго смотришь на кого-нибудь... случается и такое.

Потом, повинувшись щепетильности и деликатности, которая могла показаться неправдоподобной в женщине подобного пошиба, видимо боясь унижить или задеть Лилию-Марию своею странной просьбой, Мон-Сен-Жан печально прибавила:

– Нет, нет, я это в шутку сказала, не бойтесь, Певунья... Я не позволю себе больше глядеть на вас с такой тайной мыслью... если только вы сами мне не разрешите... Мой ребенок будет таким же безобразным, как я... ну и что из того?.. Я его из-за этого меньше любить не стану: бедный, злосчастный мой малыш, он, как говорится, не просил рожать его... И если он выживет... что с ним будет? – прибавила она с сумрачным и подавленным видом. – Увы! Да. Что будет с ним, господи боже?

При этих словах Певунья затрепетала.

В самом деле, что ожидало ребенка этой несчастной, униженной женщины, опустившейся, нищей, всеми презираемой?.. Какая судьба была уготована ему?.. Что ожидало его в будущем?!

– Не надо так думать, Мон-Сен-Жан, – возразила Лилия-Мария. – Вы должны уповать на то, что ваш ребенок встретит на своем пути людей добрых и милосердных.

– Ох, во второй-то раз так не повезет, вы уж мне поверьте, Певунья, – с горечью сказала Мон-Сен-Жан, качая головой, – я вот вас встретила... такую, как вы есть... и это такой счастливый случай... И, знаете, не в обиду будь вам сказано, я предпочла бы, чтоб такое счастье выпало не мне, а ему, моему ребеночку. Вот мое заветное желание... и это все, что я могу ему дать.

– Молитесь, усердно молитесь... И Бог вас услышит.

– Ладно, я стану молиться, если вам это доставит удовольствие, Певунья, может, это и впрямь принесет мне счастье; правда, я бы никогда не поверила, коли мне сказали бы: вот Волчица тебя колотит, ты для всех, как говорится, козел отпущения, на тебе все зло срываю, а вот найдется такой ангелочек, он спасет тебя, его милый добрый голосок окажется сильнее всех, сильнее самой Волчицы, а кто не знает, до чего она сильная и злая!..

– Так-то оно так, но ведь Волчица стала очень добра к вам, когда она подумала о том, что вас надо жалеть вдвое больше всякой другой.

– Ох, и то правда... Но ведь это благодаря вам, и я этого никогда не забуду... Но скажите мне, Певунья, почему она, Волчица, на другой же день попросила, чтоб ее перевели в другое отделение тюрьмы... а ведь она, хоть у нее и бывают приступы ярости, вроде бы без вас уже обходиться не могла?

– Да, она немного норовиста...

– Чудно все это... Одна женщина из того отделения тюрьмы, где сейчас сидит Волчица, говорит, что Волчица-то совсем переменилась...

– В чем же она переменилась?

– Она теперь никого не задевает, никому не угрожает, а все сидит такая печальная-печальная... и все прячется по углам; а коли с ней заговаривают, поворачивается спиной и ничего не отвечает... Вот диво-то: она ведь все время орала, а теперь сидит как немая... А потом, та женщина сказала мне еще одну вещь... да только в это я не верю.

– Что ж она сказала?

– Она говорит, что видела, как Волчица плакала... Ну, чтоб Волчица плакала, того быть не может.

– Бедная Волчица! Это из-за меня она решила перейти в другое отделение тюрьмы... Я, сама того не желая, причинила ей горе, – со вздохом сказала Певунья.

– Да как вы могли хоть кому-нибудь причинить горе, вы, мой добрый ангел-хранитель... В эту минуту надзирательница, г-жа Арман, вошла во внутренний двор тюрьмы.

Поискав глазами Лилию-Марию, она направилась к ней, улыбаясь с довольным видом.

– У меня хорошие новости, дитя мое...

– О чем вы говорите, сударыня? – спросила Певунья, вставая.

– Ваши друзья о вас не забыли, они получили разрешение на то, чтобы выпустить вас на волю... Господин начальник тюрьмы только что получил об этом уведомление.

– Возможно ли это, сударыня? Ах, какое счастье! Боже мой!..

Волнение Лилии-Марии было столь сильным, что она побледнела, приложила руку к сильно бьющемуся сердцу и без сил вновь опустилась на скамью.

– Успокойтесь, дитя мое, – сказала ей г-жа Арман ласково, – к счастью, такие потрясения не опасны.

– Ах, сударыня, я так вам благодарна!..

– Без сомнения, это маркиза д'Арвиль добила вашего освобождения... Там пришла какая-то пожилая дама, ей поручено отвезти вас к особам, которые проявляют к вам большой интерес... Подождите меня, я сейчас вернусь за вами, мне надо только зайти в мастерскую и сказать там несколько слов.

Трудно описать выражение уныния, которое появилось на лице Мон-Сен-Жан, когда та узнала, что ее добрый ангел-хранитель, как она называла Певунью, вот-вот покинет тюрьму.

Горе этой несчастной женщины было вызвано не столько боязнью, что ее опять превратят в козла отпущения другие арестантки, сколько болью от того, что ей придется расстаться с единственным существом, которое впервые проявило какой-то интерес к ее судьбе.

Мон-Сен-Жан, которая по-прежнему сидела возле скамьи, ухватилась обеими руками за космы своих всклокоченных волос, беспорядочно выбивавшихся из-под старого черного чепца, словно хотела их выдернуть с корнем; потом это неистовое проявление горя уступило место изнеможению, голова ее бессильно упала на грудь, и она замерла в неподвижности, не произнося ни слова, как и прежде, закрыв лицо руками и упершись локтями в колени.

Несмотря на ту радость, которую Лилия-Мария ощутила, узнав, что ее выпускают из тюрьмы, она невольно вздрогнула, вспомнив, что Сычиха и Грамотей заставили ее поклясться, что она не будет сообщать своим благодетелям о своей прискорбной судьбе.

Но эти зловещие мысли быстро оставили Лилию-Марию, уступив место радостной надежде вновь увидеть Букеваль, г-жу Жорж, Родольфа, которому она хотела рассказать о Волчице и Марсиале и попросить помочь им; теперь ей даже казалось, что восторженное чувство, которое она испытывала к своему благодетелю, чувство, за которое она корила себя, не будучи подогреваемо горем и одиночеством, уляжется, как только она вновь вернется к своим мирным сельским занятиям, которые ей так нравилось делить со славными и простыми обитателями фермы.

Удивленная молчанием своей соседки по заключению, молчанием, о причинах которого она и не подозревала, Певунья слегка притронулась к плечу несчастной арестантки и сказала:

– Мон-Сен-Жан, коль скоро я выхожу на волю... не могу ли я быть вам чем-нибудь полезна?

Почувствовав прикосновение руки Певуни, несчастная арестантка вздрогнула всем телом, уронила руки на колени и повернула к молодой девушке свое лицо, залитое слезами.

Такое сильное горе выражало это лицо, что Мон-Сен-Жан даже перестала казаться дурнушкой.

– Боже мой... что с вами? – спросила Певунья. – Отчего вы так горько плачете?

– Ведь вы, вы уходите! – прошептала несчастная, и голос ее прервался от рыданий. – А я как-то и думать забыла, что раньше или позже наступит такой день, когда вы выйдете на свободу... и я вас больше никогда... никогда не увижу... ни разочка...

– Поверьте, я всегда буду помнить о вашей дружбе, Мон-Сен-Жан.

– Господи боже, господа боже!.. Подумать только, ведь я вас уже так полюбила... Когда я вот тут сидела, у ваших ног, прямо на земле... мне казалось, что я спасена... что мне больше нечего бояться. Я говорю все это совсем не потому, что другие арестантки, может, снова начнут награждать меня тумачами, я к этому привыкла, жизнь у меня всегда была нелегкая... Но мне под конец стало казаться, что мне повезло, когда я встретила с вами, что вы принесли счастье моему ребеночку, уже потому только, что вы сжалились надо мной... Знаете, это сущая правда: когда ты привык к тому, что с тобой дурно обращаются, ты больше, чем другие, ценишь доброту... – Новый взрыв рыданий прервал ее речь, потом она воскликнула: – Ладно, все кончено... в самом деле... Ведь это должно было случиться не сегодня, так завтра... Я сама виновата, что думать об этом забыла... Все кончено... Ничего больше не осталось, ничего...

– Ну что вы! Мужайтесь, я буду вспоминать о вас так же, как и вы обо мне.

– Ох, тут уж нечего говорить: пусть меня режут на куски, но я от вас вовек не отступлюсь и никогда вас не забуду! Даже когда стану старой-престарой, все равно у меня перед глазами будет стоять ваше красивое ангельское личико. Первое, чему я научу своего ребеночка, – это произносить ваше имя, Певунья, потому как он только по вашей милости не помрет от холода...

– Послушайте, Мон-Сен-Жан, – сказала Лилия-Мария, глубоко тронутая привязанностью несчастной арестантки, – я не могу ничего обещать для вас самой... хоть я и знакома с очень милосердными людьми; но для вашего ребенка... Это дело другое... Он-то ведь ни в чем не виноват, и люди, о которых я вам только что сказала, быть может, захотят взять его на воспитание, если только вы согласитесь с ним разлучиться...

– Мне с ним разлучиться?... Никогда, нет, никогда! – воскликнула Мон-Сен-Жан с необыкновенным волнением. – Что же тогда со мной самой будет, ведь я уже так к нему привязалась.

– Но... как вы сумеете вырастить и воспитать его? Неважно, кто у вас родится – девочка или мальчик, надо, чтобы ваш ребенок вырос честным, а для этого...

– Надо, чтобы он ел честно заработанный хлеб, не так ли, Певунья? Я и сама об этом думаю, в том теперь вся моя гордость; я всякий день говорю себе: когда выйду отсюда на волю, ни за что больше не примусь за прежнее занятие, не стану под мостом стоять... Лучше уж стану тряпичницей, пойду улицы подметать, но зато буду честной; я должна так поступить если не для себя, то для моего ребеночка, коли уж мне выпала честь родить его... – прибавила Мон-Сен-Жан с гордым видом.

– А кто станет присматривать за ребенком, когда вы на работу уйдете? – спросила Певунья. – Не лучше ли будет, если, как я надеюсь, это окажется возможным, отдать его на воспитание добрым людям, живущим в деревне? Девочка вырастет хорошей работницей на ферме, а мальчик сделается хорошим землепашцем. А вы время от времени будете навещать своего ребенка, и в один прекрасный день вам, может, удастся забрать его к себе или поселиться с ним: в деревне ведь жизнь такая дешевая!

– Но как же мне с ним разлучиться, как мне с ним разлучиться?! Ведь он будет моей единственной радостью, больше-то меня никто на свете не любит!

– Надо больше думать о ребенке, а не о себе, бедная вы моя Мон-Сен-Жан; дня через два или три я напишу госпоже Арман, и, если моя просьба по поводу вашего ребенка увенчается успехом, вам не придется больше говорить, думая о нем, так, как вы недавно говорили, что меня очень опечалило: «Увы, господи боже, что станется с моим ребеночком?»

Надзирательница, г-жа Арман, прервала разговор двух узниц; она пришла за Лилией-Марией.

Мон-Сен-Жан снова разразилась рыданиями и оросила горячими слезами руки молодой девушки; потом она упала на скамью и застыла в тупом оцепенении, даже не думая о том, что Лилия-Мария только что пообещала ей позаботиться о ребенке.

– Бедное создание! – воскликнула г-жа Арман, выходя из внутреннего двора тюрьмы вместе с Лилией-Марией. – Ее глубокая признательность к вам заставила меня переменить к лучшему свое мнение о ней самой.

Узнав об освобождении Певуньи, другие арестантки не только не завидовали тому, что ей так повезло, но, напротив, радовались за нее; несколько женщин окружили Лилию-Марию и сердечно распрощались с нею, от чистого сердца поздравляя ее с тем, что она так скоро выходит на волю.

– Что ни говори, – заметила одна из арестанток, – а эта молоденькая блондиночка заставила нас пережить немного радости... когда мы раскошелились на приданое для ребеночка Мон-Сен-Жан. В тюрьме долго будут об этом вспоминать.

Когда Лилия-Мария в сопровождении надзирательницы покинула здание тюрьмы, г-жа Арман сказала ей:

– Теперь, дитя мое, ступайте на склад, сдайте там арестантскую одежду и опять наденьте ваше платье, платье крестьяночки, оно хоть и простенькое, но так вам к лицу; прощайте, я уверена, что вы будете счастливы, ведь вам покровительствуют люди почтенные, достойные всяческого уважения, и вы теперь покидаете наше заведение, с тем чтобы больше никогда сюда

не вернуться... Но... смотрите-ка... кажется, я совсем расчувствовалась, – продолжала г-жа Арман, чьи глаза наполнились слезами, – я не в силах скрыть, до чего я к вам привязалась, милая вы моя девочка! – Заметив, что и у Лилии-Марии глаза увлажнились, надзирательница прибавила: – Надеюсь, вы на меня не сердитесь, что я невольно опечалила вас перед самым освобождением?

– Ах, сударыня... разве не благодаря вашему хорошему отзыву обо мне молодая знатная дама, которой я обязана своей свободой, проявила интерес к моей судьбе?!

– Да, и я просто счастлива, что я так поступила; предчувствие меня не обмануло...

В эту минуту зазвонил колокол.

– Работа в мастерских опять начинается, мне надо спешить туда... Прощайте, еще раз прощайте, милое мое дитя!..

И г-жа Арман, взволнованная не меньше, чем Певунья, нежно обняла молодую девушку; затем она приказала одному из тюремных служащих:

– Проводите барышню на вещевой склад.

Через четверть часа Лилия-Мария, одетая в то самое крестьянское платье, в котором мы видели ее на ферме в Букевале, входила в тюремную канцелярию, где ее ждала г-жа Серафен.

Экономка Жака Феррана приехала за несчастной девочкой, чтобы отвезти ее на остров Черпальщика.

Глава XI

Воспоминания

Жак Ферран легко и быстро добился освобождения Лилии-Марии из тюрьмы, ибо для этого нужно было простое административное распоряжение.

Узнав от Сычихи, что Певунья находится в тюрьме Сен-Лазар, он немедленно обратился к одному из своих постоянных клиентов, человеку весьма уважаемому и влиятельному, и сказал тому, что некая молодая девушка, поначалу сбившаяся с пути, но теперь искренне раскаявшаяся, заключена в тюрьму Сен-Лазар, и потому возникла опасность, что, общаясь с другими арестантками, она может поколебаться в принятом ею благоразумном решении. Об этой юной девице весьма похвально отзываются люди весьма респектабельные, которые хотят заняться ее судьбой, после того как она выйдет из тюрьмы, прибавил Жак Ферран. А потому он очень просит своего высокочтимого и влиятельного клиента, просит во имя нравственности и религии, а также для того, чтобы эта несчастная ступила на стезю добродетели, добиться ее освобождения.

Наконец, нотариус, стремясь обеспечить себе безопасность на случай последующих разысканий, настоятельно и убедительно просил своего клиента не упоминать, что именно он, Жак Ферран, умолял его совершить это благое дело; просьба эта, приписанная скромности нотариуса в вопросах благотворительности, ибо он был известен как человек благочестивый и весьма почтенный, была строжайшим образом выполнена: с просьбой об освобождении Лилии-Марии упомянутый выше клиент нотариуса обратился от своего имени; добившись этого, он послал Жаку Феррану распоряжение выпустить на свободу Певунью, с тем чтобы тот переслал его покровителям молодой девушки.

Вручив бумагу начальнику тюрьмы, г-жа Серафен прибавила, что ей поручено проводить Певунью в дом тех людей, что принимают участие в ее судьбе.

После прекрасного отзыва о Лилии-Марии, который надзирательница дала маркизе д'Арвиль, в тюрьме никто не сомневался, что юная арестантка обязана своим освобождением именно вмешательству маркизы.

Так что домоправительница нотариуса не могла никоим образом вызвать недоверие у своей жертвы.

Госпожа Серафен, как и приличествовало обстоятельствам, изо всех сил старалась походить на добрую женщину; надо было быть очень опытным наблюдателем, чтобы разглядеть скрытое коварство, фальшь и жестокость, которые таились под ее лицемерной улыбкой и в ее вкрадчивом взгляде.

Несмотря на всю свою злодейскую сущность, которая сделала г-жу Серафен доверенным лицом и сообщницей во всех преступлениях ее хозяина, она против воли была поражена трогательной красотой и прелестью юной девушки, которую сама же, когда та была ребенком, предала в руки Сычихи... и которую теперь вела на верную гибель...

– Ну что ж, милая барышня, – сказала г-жа Серафен медоточивым голосом, – вы, должно быть, очень довольны, что выходите на волю из тюрьмы?

– О да, сударыня, и я, без сомнения, обязана этим покровительству госпожи д'Арвиль, которая была ко мне так добра...

– Вы не ошиблись... но идемте... мы и так уже задержались... а дорога у нас впереди не близкая.

– Мы ведь поедem на ферму в Букеваль, к госпоже Жорж, не так ли, сударыня? – спросила Певунья.

– Да... разумеется, мы поедem в деревню... к госпоже Жорж, – ответила экономка нотариуса, стремясь не допустить и тени сомнения у Лилии-Марии. Затем она прибавила, придав

своему лицу выражение лукавого добродушия: – Но это еще не все... прежде чем вы свидитесь с госпожой Жорж, вас ожидает небольшой сюрприз; идемте... идемте, там, внизу, нас ждет фиакр... Какой вздох облегчения вырвется из вашей груди, когда вы выйдете отсюда на волю... милая барышня!.. Ну, пошли, пошли... Ваша покорная слуга, господа.

И г-жа Серафен, поклонившись письмоводителю и его помощнику, вышла из канцелярии вместе с Певуньей.

Их сопровождал тюремный сторож, которому было поручено отворять ворота.

Когда последние ворота закрылись за обеими женщинами, они оказались в широком крытом проходе, выходявшем на улицу Фобур-Сен-Дени; и тут они столкнулись с молодой девушкой, которая, без сомнения, спешила на свидание с кем-то из заключенных.

Это была Хохотушка... Хохотушка, как всегда быстрая и проворная; простенький, хотя и кокетливый, свежеевыглаженный чепец, украшенный лентами вишневого цвета, которые так чудесно подходили к ее гладко причесанным на пробор черным волосам, необыкновенно мило обрамлял ее красивую мордашку; белоснежный воротник ниспадал на длинное коричневое платье из шотландки. На руке у нее висела соломенная сумка; благодаря ее легкой и осторожной походке ботинки со шнуровкой на толстой подошве были совсем чистые, хотя она пришла, увы, издалека.

– Хохотушка! – воскликнула Лилия-Мария, узнав свою старинную подружку по заключению¹⁵ и по загородным прогулкам.

– Певунья! – в свою очередь вскричала гризетка.

И обе юные девушки бросились в объятия друг к другу.

Трудно было бы представить себе более очаровательное зрелище, чем нежная встреча этих двух столь непохожих внешне девушек, которым едва исполнилось шестнадцать лет: обе были прелестны, хотя и лица, и красота у них были различные.

Одна – блондинка с огромными печальными глазами, с профилем редкой чистоты, с чуть побледневшим в тюрьме лицом, немного грустным, но ставшим за последнее время более одухотворенным; она походила на одну из тех очаровательных поселянок Грёза, которые отличаются удивительно свежим колоритом и почти прозрачным ликом... словом, то было невыразимое сочетание мечтательности, доброты и грации...

Другая – пикантная брюнетка, с круглыми румяными щечками, красивыми черными глазами, простодушным смехом, оживленной физиономией; она являла собою восхитительный образ юности, беззаботной и веселой, редкий и трогательный образец доброты и снисходительности, глубокой порядочности, сохраненной несмотря на трудную жизнь, и радости, не уничтоженной ежедневным нелегким трудом.

Обменявшись невинными ласками, обе подружки теперь не отрываясь смотрели одна на другую.

Хохотушка просто сияла, обрадованная этой встречей... Певунья была явно смущена.

При виде Хохотушки Певунья вспомнила о тех редких счастливых и покойных днях, которые предшествовали ее первому грехопадению.

– Так это ты... Какая радость! – восклицала гризетка.

– Боже мой, ну конечно, какая приятная неожиданность!.. Мы так давно не виделись с тобой... – отвечала Певунья.

– Ах, теперь я больше не удивляюсь тому, что уже полгода не встречала тебя, – снова заговорила Хохотушка, заметив, что Певунья одета как крестьяночка. – Ты, стало быть, живешь в деревне?

¹⁵ Читатель, быть может, помнит, что, рассказывая о первых годах своей жизни Родольфу, во время их разговора в кабачке Людоедки, Певунья упоминала о Хохотушке, которая, будучи таким же заброшенным и бездомным ребенком, как она сама, жила вместе с нею до пятнадцати лет в исправительном доме.

– Да... с некоторых пор, – ответила Лилия-Мария, опуская глаза.

– И ты, как и я, навещала кого-то в тюрьме?

– Да... я приходила... я только что повидала кое-кого, – ответила Лилия-Мария, запинаясь и покраснев от стыда.

– А теперь возвращаешься к себе? Должно быть, это далеко от Парижа? Миленькая ты моя Певунья... ты все такая же добрая, я узнаю твой нрав... Помнишь ту бедную женщину, что рожала, а ты отдала ей свой тюфяк, белье и те деньги, что у тебя оставались, а ведь мы собирались потратить их в деревне... Ты уже тогда бредила деревней, дорогая моя поселючка.

– А ты не больно-то любила деревню, Хохотушка; но по доброте сердечной ради меня ездила со мною за город.

– Нет, и для себя тоже... потому что ты всегда была такая серьезная, но стоило тебе попасть в лес или на лужок, и ты становилась такой счастливой, такой веселой, такой сумасбродной, что при одном взгляде на тебя я испытывала огромное удовольствие!.. Но позволяй еще поглядеть на тебя. Как тебе идет этот красивый круглый чепец! Ты в нем просто прелесть! В самом деле тебе на роду написано ходить в чепчике поселючки, а мне – в чепчике гризетки. Значит, ты живешь теперь так, как тебе хотелось, и должна быть довольна своей судьбой... Впрочем, меня это не удивляет... Когда я перестала тебя встречать, я подумала: «Моя милая, славная Певунья не создана для жизни в столице, ведь она настоящий лесной цветок, как в песне поется, а такие цветы в Париже не приживаются, тамошний воздух для них вреден... Так что Певунья, должно быть, нашла себе приют у каких-нибудь добрых людей в деревне». Ведь так оно и получилось, не правда ли?



Хохотушка

– Да... – ответила Лилия-Мария, вновь покраснев.

– Но только... я в одном должна тебя упрекнуть.

– Меня? А в чем?

– Ты должна была меня предупредить... ведь так, сразу, не расстаются... ты бы хоть весточку о себе подала.

– Я... я уехала из Парижа так поспешно, – ответила Певунья, смущаясь все больше и больше, – что просто не могла...

– О, я на тебя не сержусь, я слишком рада тому, что снова вижу тебя... В самом деле, ты правильно поступила, уехав из Парижа, знаешь, тут так трудно жить спокойно; я уж не говорю, что бедная и одинокая девушка, такая, как мы с тобой, может, сама того не желая, пойти по

дурной дорожке... Когда тебе даже посоветоваться не с кем... и заступиться за тебя некому... а мужчины все время обещают тебе золотые горы; ну и бедность, сама знаешь, иногда бывает так трудно сносить... Послушай, ты помнишь эту миленькую Жюли, она была такая хорошенькая? И Розину помнишь, блондинку с черными глазами?

– Да... я их обеих помню.

– Так вот, милая моя Певунья! Их обеих обманули, а потом бросили, и, переходя от одной беды к другой, они в конце концов опустили и стали такими дурными женщинами, каких держат в этой тюрьме...

– Ах, боже мой! – воскликнула Лилия-Мария; она густо покраснела и опустила голову.

Хохотушка, не поняв истинной причины этого возгласа своей подружки, продолжала:

– Они, конечно, виноваты и, если хочешь, достойны презрения, не спору; но, видишь ли, добрая моя Певунья, нам с тобой выпало счастье остаться порядочными и честными: тебе – потому что ты поселилась в деревне в обществе славных крестьян, а мне – потому что у меня просто времени не было заниматься любовными интрижками... Обожаемая я предпочитала моих птиц, и вся моя отрада состояла в том, что, прилежно трудясь, я могла поселиться в очень миленькой квартирке... Нельзя быть слишком строгими к другим; господи боже, кто знает... может, несчастный случай, низкий обман или нищета во многом объясняют дурное поведение Розины и Жюли... и, окажись мы на их месте, мы ведь тоже могли бы поступить, как они!..

– О, я их совсем не обвиняю... – с горечью сказала Лилия-Мария. – Мне их очень жаль...

– Ну ладно, ладно, мы ведь очень спешим, милая барышня, – сказала г-жа Серафен, нетерпеливо протягивая руку к своей жертве.

– Сударыня, позвольте нам побыть еще немного вместе, я ведь так давно не видела мою милую Певунью, – жалобно сказала Хохотушка.

– Так ведь уже поздно, девочки мои; уже три часа, а путь нам предстоит долгий, – ответила г-жа Серафен, весьма недовольная встречей двух подружек; потом она прибавила: – Ладно, я даю вам еще десять минут...

– Ну а ты, – сказала Лилия-Мария, беря руки Хохотушки в свои, – у тебя ведь такой легкий характер; ты по-прежнему весела? По-прежнему всем довольна?..

– Еще несколько дней назад я была и весела и довольна, но сейчас...

– У тебя какое-нибудь горе?

– У меня? Ах да, ты ведь меня хорошо знаешь... я всегда была беззаботна и весела... И нрав у меня не переменялся, но, к несчастью, не все люди такие, как я... И коли у других горе, то и я горюю вместе с ними.

– Ты все такая же добрая...

– А как же иначе!.. Представь себе, я прихожу сюда повидать одну бедную девушку, мою соседку... она кроткая, как овечка, а ее несправедливо обвиняют, и, знаешь, мне так ее жаль; зовут ее Луиза Морель, она дочка честного и порядочного работника, он даже помешался, так сильно горевал.

При имени Луизы Морель, одной из жертв нотариуса, г-жа Серафен вздрогнула и внимательно посмотрела на Хохотушку.

Лицо гризетки ей было совсем незнакомо; тем не менее экономка Жака Феррана стала внимательно прислушиваться к разговору обеих девушек.

– Бедняжка! – воскликнула Певунья. – Как она, должно быть, рада, что ты не позабыла ее в беде!

– Но это еще не все, просто какое-то злосчастное невезение, ведь сюда я пришла изда-лека... и была я в другой тюрьме... в мужской...

– Ты ходила в мужскую тюрьму?

– Ах господи, да, там у меня есть еще один подопечный, и он все время грустит... вот видишь мою соломенную сумку (и Хохотушка показала ее подружке), так я разделила ее на две

половинки, и каждая половинка для одного из них: нынче я принесла Луизе немного чистого белья, а перед тем кое-что отнесла бедному Жермену... моего подопечного так зовут; послушай, как только я вспоминаю, что у меня сегодня там произошло, мне плакать хочется... Это глупо, я и сама понимаю, что плакать там нельзя, но я уж так устроена.

– А почему тебе плакать хочется?

– Понимаешь, Жермен до того убивается, что его посадили в тюрьму вместе со злоумышленниками, он до того подавлен, что ему все не мило, он совсем ничего не ест и тает прямо на глазах... Я это заметила и подумала: «У него вовсе нет аппетита, сделаю-ка я ему какое-нибудь лакомство из тех, что ему так нравились, когда мы еще были соседями, может, оно ему и тут по вкусу придется...» Когда я говорю «лакомство», ты не подумай, что это какая-нибудь диковинка, просто я купила спелые желтые яблоки, протерла их с сахаром и молока прибавила; все это я налила в очень хорошенькую чашку, чистую-пречистую, и отнесла ему в тюрьму, я сказала, что сама приготовила это кушанье, потому как то было его любимое блюдо, прежде, когда было все хорошо, понимаешь? Я думала, он хоть немного поест... Ну, так вот...

– Что же случилось?

– Есть ему все равно не захотелось, но он вдруг как расплачется, когда узнал эту чашку, я из нее часто пила при нем молоко, и у него ручьем полились слезы... а ко всему еще я и сама, как ни сдерживалась, под конец разревелась. Видишь, как мне не везет: хотела сделать как лучше... утешить его, а еще больше опечалила.

– Да, но знаешь, должно быть, эти слезы были ему приятны!

– Все равно, мне-то ведь хотелось его хоть немного утешить! Но я тебе рассказываю о нем, а толком не объяснила, кто он такой; это мой бывший сосед... он самый честный и порядочный человек на свете, такой мягкий, такой робкий, ну совсем как девушка; я всегда любила его как верного товарища, как брата.

– О, теперь я понимаю, почему его горе стало и твоим горем.

– Еще бы! Но сейчас ты поймешь, какое у него доброе сердце. Я уже собралась уходить и, как всегда, спросила у него, какие будут поручения, а чтобы его немного развеселить, прибавила, что я ведь теперь веду его хозяйство и стараюсь быть прилежной и аккуратной, чтобы сохранить за собой это место. И тогда он, улыбнувшись через силу, попросил меня принести ему тот роман Вальтера Скотта, который он мне когда-то читал по вечерам, пока я работала; роман этот называется «Айвен...», «Айвенго», да, да, именно так. Я очень любила эту книгу, и он дважды прочел ее мне вслух... Бедный Жермен! Он ведь был такой внимательный и услужливый...

– Ему хотелось вспомнить о той счастливой поре его жизни.

– Конечно, потому он и попросил меня пойти в тот же самый кабинет для чтения, но не брать там на время, а купить для него те несколько томиков, которые он читал мне вслух... Да, именно купить... А ты сама посуди, какая это для него жертва, ведь он так же беден, как мы с тобой.

– Да, у него чудесное сердце! – с волнением воскликнула Певунья.

– Видишь, и тебя это растрогало, как и меня... когда он попросил меня об этом, миленькая моя Певунья. Но, понимаешь, чем больше мне хотелось расплакаться, тем старательнее я улыбалась, потому как разреветься во время посещения заключенного, которого ты хотела развеселить, – это уж слишком!.. И вот, чтобы скрыть подступающие слезы, я стала вспоминать разные смешные положения, в какие попадал старик-еврей, один из персонажей этого романа; в свое время они нас обоих очень забавляли... Но чем больше я говорила, тем печальнее он смотрел на меня, а в глазах у него стояли большие-пребольшие слезы. Ну и конечно же, сердце у меня просто разрывалось; я изо всех сил удерживала слезы, но через четверть часа и сама расплакалась; когда мы прощались, он разрыдался, а я мысленно твердила себе, сердясь на собственную глупость: «Если я так и дальше буду утешать и веселить его, то мне незачем к

нему приходиться, а ведь я все время обещаю самой себе, что заставлю его смеяться». И видишь, что получается на деле!

При имени Жермена, другой жертвы нотариуса, г-жа Серафен наострила уши.

– А что он такого натворил, этот молодой человек? Почему его упрятали в тюрьму? – спросила Лилия-Мария.

– Он! – воскликнула Хохотушка, мгновенно переходя от умиления к негодованию. – Он-то ничего дурного не сделал, но его преследует один старый изверг, нотариус... Тот самый, что засадил в тюрьму и Луизу.

– Ту самую Луизу, которую ты сегодня навещала?

– Вот именно; она была служанкой у нотариуса, а Жермен был у него кассиром... Слишком долго тебе рассказывать, в чем этот человек несправедливо обвиняет Жермена... Но одно я могу тебе твердо сказать: этот злодей точно взбесился и терзает несчастных Луизу и Жермена, а ведь они не сделали ему ничего дурного... Но немного терпения – и каждый еще получит по заслугам...

Хохотушка произнесла последние слова с таким выражением лица, что г-жа Серафен встревожилась. До сих пор она не вмешивалась в разговор девушек, но тут вдруг сказала Лилии-Марии вкрадчивым голосом:

– Милая барышня, уже поздно, нам пора идти... нас ведь ждут. Я понимаю, что рассказ вашей подружки вас сильно занимает, ибо я сама, хоть и не знаю ни юной девушки, ни молодого человека, о которых идет речь, сильно огорчена. Господи боже! Неужели возможно, что есть такие злобные люди! А как, кстати, зовут этого мерзкого нотариуса, о котором вы говорили, барышня?

У Хохотушки не было причин опасаться г-жи Серафен. Тем не менее, помня о настоятельных советах Родольфа, который велел ей соблюдать особую сдержанность и никому не говорить о том, что он тайно покровительствует Жермену и Луизе, девушка пожалела, что у нее вырвались слова: «Немного терпения – и каждый еще получит по заслугам».

– Этого злого человека зовут Жак Ферран, сударыня, – ответила Хохотушка и, чтобы поправить некоторую свою нескромность, весьма ловко прибавила: – И с его стороны особенно дурно мучить Луизу и Жермена, потому что никому до них дела нет... кроме меня... ну а я-то что могу для них сделать?!

– Беда, да и только! – воскликнула г-жа Серафен. – А я было подумала, когда вы сказали: «Немного терпения...», что вы надеетесь на какого-нибудь покровителя, который пришел бы на помощь несчастным и защитил бы их от этого злодея-нотариуса.

– Увы, вовсе нет, сударыня, – прибавила Хохотушка, чтобы окончательно рассеять подозрения, возникшие у г-жи Серафен, – сами подумайте, кто будет настолько великодушен, чтобы встать на сторону этих злосчастных молодых людей и выступить против такого богатого и влиятельного человека, как этот господин Ферран?

– О, есть люди достаточно великодушные, чтобы встать на их защиту! – воскликнула Певунья после недолгого размышления, и в голосе ее прозвучала с трудом сдерживаемая возторженность. – Да, я знаю человека, который считает своим долгом защищать тех, кто страдает, и человек, о котором я говорю, надежный защитник людей честных и грозный противник злодеев.

Хохотушка с удивлением поглядела на Певунью; она уже собиралась сказать, подумав о Родольфе, что она тоже знает человека, который смело принимает сторону слабого против сильного; но, продолжая следовать советам своего соседа (она ведь так называла принца Родольфа), гризетка ответила своей подружке:

– Правда? Ты знаешь такого великодушного человека, который готов прийти на помощь бедным людям?

– Да, знаю... и хотя я уже прибегала к его жалости и к его благотворительности, умоляя помочь некоторым людям, я уверена, что, если бы он только знал о незаслуженном несчастье Луизы и господина Жермена... он бы спас их и покарал их преследователя потому, что его доброта и его справедливость так же неисчерпаемы, как у самого Господа Бога...

Госпожа Серафен с изумлением посмотрела на свою жертву.

– Эта девочка, видно, гораздо опаснее, чем мы думали! – прошептала она. – И если бы мне было позволено проявить к ней жалость, то ее слова делают неизбежным «несчастный случай», который должен нас от нее избавить.

– Миленькая Певунья, раз у тебя есть такой добрый знакомый, умоляю тебя, попроси его помочь моей славной Луизе и моему Жермену, потому как они не заслужили своего печального удела, – сказала Хохотушка, подумав, что ее друзья только выиграют, если вместо одного защитника у них будет два.

– Будь спокойна, обещаю тебе сделать все, что смогу, для твоих подопечных; я расскажу о них господину Родольфу, – проговорила Лилия-Мария.

– Господину Родольфу?! – с нескрываемым удивлением воскликнула Хохотушка.

– Именно ему, – ответила Певунья.

– Какому господину Родольфу?... Коммивояжеру?

– Я не знаю, чем он занимается... Но почему ты так удивилась?

– Потому что я тоже знаю одного господина Родольфа.

– Быть может, это не тот, кого я знаю.

– Поглядим. Расскажи мне о своем: каков он на вид.

– Он молодой!..

– Мой тоже.

– Лицо у него такое благородное и доброе...

– И у моего тоже... Но, господи, твой совсем такой, как и мой! – вскричала Хохотушка, все больше и больше удивляясь.

Потом она прибавила:

– Он что, брюнет с маленькими усиками?

– Да.

– Скажи, наконец, он такой высокий и худощавый?... И у него такая гибкая талия... и вид у него совсем такой, как нужно... для коммивояжера... Ну как, похож твой на моего?

– Нет сомнения, это тот самый, – сказала Певунья. – Только одно вот меня удивляет: почему ты думаешь, что он коммивояжер?

– Ну, что до этого, то я уверена... он мне сам сказал.

– Так ты с ним знакома?

– Знакома ли я с ним? Да ведь он мой сосед.

– Кто? Господин Родольф?

– Его комната находится на пятом этаже, рядом с моей.

– Его комната?... Его?..

– А что тут удивительного? Все очень просто; он ведь зарабатывает всего тысячу пятьсот или тысячу восемьсот франков в год и поэтому может снимать только недорогое жилье... Правда, образцом бережливости его не назовешь, он даже толком не знает, во что обходится его платье. Вот каков мой любезный сосед...

– Нет, нет, это не тот, – сказала Лилия-Мария после некоторого раздумья.

– Ах так? А что твой – чудо какой бережливый?

– Видишь ли, Хохотушка, тот, о котором я тебе говорю, – сказала Лилия-Мария с восторгом, – такой всесильный... все произносят его имя с любовью и почтением... даже его внешность волнует и подавляет... Так и хочется опуститься перед ним на колени, до того он добр и величествен...

– Ну, тогда я не знаю, милая Певунья; пожалуй, я, как и ты, скажу: это не тот; мой господин Родольф и не всемогущ, и вовсе не подавляет; он просто очень славный малый, всегда веселый, и на колени перед ним никто не становится; напротив, он совсем простой, потому что предложил даже помочь натереть пол у меня в комнате, я уж не говорю о том, что он собирался пригласить меня на воскресную прогулку... Так что, сама видишь, никакой он не знатный человек. Но о чем только я говорю! Как ты понимаешь, мне сейчас не до прогулок! И Луиза, и мой бедный Жермен в тюрьме, и, пока они не выйдут на волю, никаких развлечений у меня не будет.

Вот уже несколько мгновений Лилия-Мария о чем-то напряженно думала: она вдруг вспомнила, что, когда впервые познакомилась с Родольфом в кабачке Людоедки, и вид его, и речь были совсем такие, как у завсегдатаев низкопробных кабаков. А может быть, он играл перед Хохотушкой роль коммивояжера?

Но для чего ему надо было так преображаться?

Видя, что Певунья задумалась, гризетка снова заговорила:

– Не ломай надо всем этим голову, милая моя Певунья, раньше или позже мы непременно узнаем, знакомы ли мы с одним и тем же господином Родольфом; когда ты увидишь своего, заговори с ним обо мне, а когда я увижу моего, расспрошу его о тебе, таким образом мы сразу же узнаем, один и тот же это человек или нет.

– А где ты живешь, Хохотушка?

– На улице Тампль, в доме номер семнадцать.

«Вот что весьма странно и что нужно непременно разузнать, – подумала г-жа Серафен, внимательно прислушивавшаяся к разговору подружек. – Этот таинственный и всемогущий господин Родольф, который выдает себя за коммивояжера, живет по соседству с этой молоденькой работницей; кстати, она, как видно, знает гораздо больше, чем говорит; и этот защитник угнетенных живет также в одном доме с Морелем и Брадаманти... Ладно, ладно, если гризетка и мнимый коммивояжер будут и впредь мешаться в дела, которые их не касаются, мы будем знать, где их найти».

– Как только я поговорю с господином Родольфом, я тебе напишу, – сказала Певунья, – и сообщу свой адрес, чтобы ты могла мне ответить; но повтори мне твой адрес, боюсь, что я его не запомнила.

– Постой-ка, а ведь у меня с собой как раз те карточки, которые я оставляю своим клиенткам, – сказала Хохотушка, протягивая Лилии-Марии маленькую карточку, на которой великолепным круглым почерком было написано: «Мадемуазель Хохотушка, модистка, улица Тампль, дом номер семнадцать». – Написано так, будто напечатано в типографии, правда? – прибавила гризетка. – Это еще бедный Жермен написал их для меня, эти карточки, в лучшие времена. Господи, какой он был добрый, какой внимательный!.. Послушай, могут сказать, что я, как нарочно, заметила и оценила все его достоинства только теперь, когда он так несчастен... И сейчас я все время упрекаю себя, что так долго ждала, чтобы полюбить его...

– Стало быть, ты его любишь?

– Ах, бог мой, конечно, люблю!.. Должен же у меня быть повод для того, чтобы приходить к нему в тюрьму... Согласись, что я странное существо, – прибавила Хохотушка, подавляя вздох и смеясь сквозь слезы, как сказал поэт.

– Ты, как и прежде, добра и великодушна, – сказала Певунья, нежно пожимая руки своей подружки.

Госпожа Серафен, без сомнения, сочла, что уже достаточно много узнала из разговора двух девушек; поэтому она довольно резко сказала Лилии-Марии:

– Идемте, идемте, милая барышня, нам пора; уже поздно, а мы и так потеряли добрых четверть часа.

– Какая она брюзга, эта старуха!.. Не нравится мне ее лицо, – чуть слышно сказала Хохотушка Певунья. Затем, уже громко, она прибавила: – Когда ты опять попадешь в Париж, милая моя Певунья, не забудь обо мне: твой приход доставит мне такое удовольствие! Я буду просто счастлива провести с тобой целый день, покажу тебе мое гнездышко, мою комнату, моих пташек!.. Да, у меня есть певчие птички... это – моя роскошь.

– Я постараюсь приехать и повидать тебя, но в любом случае напишу тебе; ну ладно, Хохотушка, прощай, прощай... Если б ты только знала, как я рада, что встретила тебя!

– Я тоже... но, надеюсь, видимся мы не в последний раз; а потом, мне не терпится узнать, тот ли самый человек твой господин Родольф или другой... Напиши мне об этом поскорее, прошу тебя.

– Да, да, напишу... Прощай, Хохотушка.

– Прощай, моя миленькая, моя славная Певунья.

И юные девушки снова нежно обнялись, стараясь скрыть свое волнение.

Хохотушка направилась в тюрьму, чтобы проведать Луизу; она могла это сделать благодаря разрешению, которое получил для нее Родольф.

Лилия-Мария поднялась в фиакр вместе с г-жой Серафен, которая приказала кучеру ехать в Батиньоля и высадить их у заставы.

Короткая проселочная дорога вела от этого места почти прямо к берегу Сены, неподалеку от острова Черпальщика.

Лилия-Мария не знала Парижа и потому не могла заметить, что экипаж ехал по совсем другой дороге, чем та, что вела к заставе Сен-Дени. Только когда фиакр остановился в Батиньоле, она сказала г-же Серафен, предложившей ей выйти из экипажа:

– Но мне кажется, сударыня, что это не та дорога, что ведет в Букеваль... А потом, как же мы дойдем пешком отсюда до фермы?

– Я только одно могу вам сказать, милая барышня, – с напускной сердечностью ответила экономка нотариуса. – Я выполняю распоряжения ваших благодетелей... и вы их очень огорчите, если не решитесь последовать за мною.

– О, сударыня, не думайте так, пожалуйста! – воскликнула Певунья. – Вы посланы ими, и я не вправе ни о чем вас спрашивать... Я слепо пойду вслед за вами; вы мне только скажите, хорошо ли себя чувствует госпожа Жорж?

– Как нельзя лучше!

– А господин Родольф?

– Он себя чувствует тоже превосходно.

– Значит, вы его знаете, сударыня? Но только что, когда я говорила о нем с Хохотушкой, вы не проронили об этом ни слова.

– Потому что я не должна была ничего говорить... Вам понятно? Мне даны строгие приказания...

– Это он вам их дал?

– До чего ж она любопытна, эта милая барышня, до чего любопытна! – сказала со смехом домоправительница нотариуса.

– Вы совершенно правы, сударыня; простите мне эти лишние вопросы. Раз мы идем пешком туда, куда вы меня ведете, – прибавила Лилия-Мария, чуть улыбнувшись, – значит я скоро узнаю то, что мне так хочется узнать.

– В самом деле, милая барышня: через каких-нибудь четверть часа мы будем на месте.

Экономка Жака Феррана и Певунья, оставив позади последние дома Батиньоля, шли теперь по поросшей травой дороге, окаймленной кустами орешника.

День был ясный и теплый; правда, по небу медленно плыли облака, позлащенные закатом: солнце уже клонилось к западу и бросало теперь косые лучи на холмистый берег, по другую сторону Сены.

По мере того как Певунья приближалась к реке, ее бледные щеки чуть порозовели; она с наслаждением вдыхала чистый и живительный воздух полей.

Ее нежное личико выражало такое трогательное удовольствие, что г-жа Серафен сказала девушке:

– Вы, кажется, очень довольны, милая барышня?

– О да, сударыня... ведь я вот-вот увижу госпожу Жорж, а быть может, и господина Родольфа... Я хочу попросить его помочь нескольким очень несчастным беднякам... и, надеюсь, он облегчит их участь... Как же мне не радоваться?! Если даже мне и было грустно, то скоро моя грусть рассеется... А потом, вы только поглядите... какое веселое над нами небо с чуть розовеющими облаками! А до чего зеленая трава... просто не по сезону! А там, внизу, за ивами, видите реку... какая она широкая... Господи, в ней отражается солнце, и она так блестит, что просто ослепляет... вода, можно сказать, отливает золотом... совсем недавно так же блестела на солнце вода в маленьком водоеме во дворе тюрьмы... Бог не забывает о несчастных арестантах... Он посылает и им луч солнца, – прибавила Лилия-Мария, и на лице у нее появилось выражение благоговейной признательности.

Затем, ощутив чувство свободы, такое сильное у вышедших на волю узников, она воскликнула в порыве наивной радости:

– Ах, сударыня, видите... там, посреди реки, прелестный маленький остров, обсаженный ивами и тополями, а на нем – беленький домик у самой воды... как, должно быть, здесь чудесно летом, когда деревья покрыты зеленеющей листвой... какая, верно, тут царит тишина, какая свежесть и аромат!

– Право, – проговорила г-жа Серафен со странной улыбкой, – я просто в восторге, что вам так нравится этот островок.

– А почему, сударыня?

– Потому что мы туда и направляемся.

– На этот остров?

– Да. А почему вас это удивляет?

– Меня и вправду это немного удивляет...

– А если вы встретите там своих друзей?

– Что вы говорите!

– Ваших друзей, собравшихся вместе, чтобы отпраздновать ваше освобождение из тюрьмы? Разве не будет это для вас очень приятным сюрпризом?

– Возможно ли это?! И госпожу Жорж... и господина Родольфа?..

– Послушайте, милая барышня, с вами я чувствую себя как беззащитное дитя... у вас такой тихий, невинный вид, а на самом деле вы заставляете меня говорить то, что мне говорить не положено.

– Значит, я опять их увижу... О сударыня, сердце у меня так колотится!

– Не спешите, пожалуйста, идите медленнее, мне понятно ваше нетерпение, но я с трудом поспеваю за вами... милая вы моя сумасбродка...

– Простите меня, сударыня, мне так не терпится скорее попасть туда.

– Это вполне понятно... Я вас за это не упрекаю, напротив...



Мы покинем теперь г-жу Серафен и ее жертву на дороге, ведущей к реке.

– Теперь дорога круто пошла вниз, и очень она неровная, не хотите ли опереться на мою руку, сударыня?

– Отказываться не стану, милая барышня... вы ведь молоды и проворны, а я уже старенькая.

– Обопритесь же на мою руку сильнее, сударыня, не бойтесь, меня это не утомит...

– Спасибо, милая барышня, ваша помощь мне вот как нужна! Здесь такой крутой спуск... Но вот мы и вышли на ровную дорогу.

– Ах, сударыня, неужели я и вправду увижу госпожу Жорж? Не могу в это поверить!

– Еще немного терпения... Через каких-нибудь четверть часа вы ее увидите и тогда в это поверите!

– Одного я только не могу понять, – прибавила Лилия-Мария, на мгновение задумавшись, – почему это госпожа Жорж ждет меня тут, а не у нас на ферме?

– По-прежнему она все такая же любопытная, эта милая барышня, все такая же любопытная...

– Как нескромно я себя веду, не правда ли, сударыня? – с улыбкой спросила Певунья.

– Признаться, меня так и подмывает рассказать, что за сюрприз готовят вам друзья...

– Сюрприз? Они готовят мне сюрприз, сударыня?

– Послушайте, оставьте же меня в покое, милая проказница, вы еще, чего доброго, принудите меня заговорить против воли...

Мы покинем теперь г-жу Серафен и ее жертву на дороге, ведущей к реке.

А сами поспешим попасть на остров Черпальщика за несколько минут до того, как они перед ним появятся.

Глава XII

Лодка

– *Что это? Вы уже уезжаете?*
– *Уехать! И больше не слышать ваших благородных речей! Нет, клянусь небом! Я остаюсь здесь...*
(Вольфганг, сц. вторая)

Ночью вид у острова, где жило семейство Марсиалей, был зловещий; но при ярком свете солнца это окаянное место казалось как нельзя более веселым.

Окаймленный ивами и тополями, почти целиком покрытый густой травой, среди которой змеились тропинки, сверкавшие желтым песком, остров этот был богат фруктовыми деревьями; имелся на нем и небольшой огород. Посреди фруктового сада можно было разглядеть лачугу, крытую соломенной кровлей, в ней-то и хотел поселиться Марсиаль вместе с Франсуа и Амандиной. В этой стороне остров заканчивался остроконечным выступом, превращенным в свайный мол и укрепленным толстыми столбами, с тем чтобы препятствовать оползням.

Перед домом, стоявшим неподалеку от пристани, помещалась беседка; летом она была увита хмелем и диким виноградом и служила достаточно уютным прибежищем, где стояли столики для посетителей кабачка.

К одной стороне дома, выкрашенного белой краской и покрытого черепичной крышей, примыкал деревянный сарай с чердаком – он как бы служил небольшим флигелем, гораздо более низким, чем сам дом. В верхней части этого флигеля можно было различить окно: сейчас оно было плотно прикрыто ставнями, обитыми листами железа; снаружи ставни эти были закреплены двумя поперечными железными перекладинами, плотно сидевшими в стенах благодаря прочным железным скобам.

На воде покачивались три ялика, привязанные к сваям небольшой пристани.

Присев на корточки в одном из яликов, Николя проверял, легко ли приподнимается люк, который он приладил на днище ялика.

Стоя на скамье перед беседкой, Тыква, приложив ко лбу руку козырьком, смотрела вдаль, в ту сторону, откуда должны были появиться г-жа Серафен и Лилия-Мария, направлявшиеся к берегу, откуда они должны были добраться до острова.

– Пока что никого не видать, ни старухи, ни девчонки, – сказала Тыква, слезая со скамьи и обращаясь к Николю. – Получится, как вчера! Только даром прождем. Если они не подойдут за полчаса, придется уехать, не дождавшись их; дело, затеянное у Краснорукого, куда важнее, а он нас ждет. Торговка драгоценностями должна прийти к нему на Елисейские поля к пяти часам вечера. А нам надо поспеть туда до нее. Нынче утром Сычиха снова нам об этом напомнила...

– Ты права, – ответил Николя, выбравшись из лодки. – Черт бы побрал эту старуху, заставляет столько времени ждать себя безо всякого толку! Люк ходит как по маслу. Но из-за нее мы можем оба дела упустить...

– К тому же Краснорукий в нас нуждается – вдвоем-то они не управятся.

– Это верно; ведь, пока все это будет происходить, надо, чтобы Краснорукий находился перед кабачком, на стреме, а Крючок не так силен, чтобы без посторонней помощи затолкать торговку в подвал... ведь она, тетка эта, брыкаться станет.

– А помнишь, Сычиха с усмешкой говорила нам, что она в этом подвале держит Грамотея... он там у нее вроде как на всем готовом живет!

– Нет, он в другом подвале. Тот, где он сидит, гораздо глубже, и когда вода в реке поднимается, она заливают подвал.

– Он там, должно, совсем одичал, Грамотей-то! Подумать только: сидит там один-одинешенек, да к тому же слепой!

– Ну, будь он зрячим, все равно он ничего бы не увидел: там темно, как в устье печи.

– Так или иначе, когда он, для развлечения, пропоеет все романсы да песенки, какие знает, время для него потянется куда как долго.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.